ДАНИЭЛЬ КЕЛЬМАН

Время Малера



Время Малера: Роман, рассказы
Даниэль Кельман

Аннотация
Даниэль Кельман
Под солнцем. Рассказы
- Ограбление банка
- Убить
- Под солнцем
- Развязка
- PYR
- Критика
- Пост
- Снег

Время Малера. Роман
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X

XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Аннотация

«Время Малера» — роман одного из самых ярких немецкоязычных писателей современности, автора знаменитой «Магии Берхольма». Главный герой «Времени Малера» — физик Давид Малер — открывает истинную природу времени, и это открытие начинает влиять на его восприятие мира, служит отправной точкой цепочки загадочных событий. У российских читателей книга может вызвать неожиданные ассоциации с романом Стругацких «За миллиард лет до конца света».

Даниэль Кельман

Под солнцем. Рассказы

Ограбление банка

Маркусу Мерингу стукнуло тридцать четыре, а то и все тридцать пять, частенько он и сам не знал точно. Он жил в двухкомнатной квартире со встроенной кухонькой и маленьким балконом. А телевизором не обзавелся, это и отличало его от соседей. Зато он пристрастился к приключенческим романам. Больше всего любил «Моби Дика» — перечитал четыре раза, также жаловал Джозефа Конрада и Грэма Грина. Маркус работал в учреждении; письменный стол, печать и множество авторучек — все это имелось в его распоряжении, а телефон не требовался. Он просматривал бланки, заполненные теми, кто занимался делами поважнее. Найдя ошибки, отсылал бумажку обратно; не обнаружив таковых, отправлял в следующий отдел. Как-то ему довелось познакомиться с человеком, который массировал на крестьянском дворе свиней; а еще он всякий раз, заглядывая в туалет, с таким же содроганием думал о чистильщиках каналов, копающихся в городских экскрементах глубоко под землей. Значит, есть на свете профессии похуже его собственной. Раз в год он садился в поезд

и уезжал в пансионат, в зеленую и холмистую местность, где проводил две недели. Рождество справлял у глухого деда, бывшего машиниста. Каждый месяц навещал сестру с зятем и привозил детям шоколад. Как государственный служащий он не подлежал увольнению, как член книжного клуба ежеквартально получал новый каталог. Однажды, в девятнадцать лет, он написал стихотворение; Маркус хранил его в ящике стола и время от времени читал вслух. В лотерею он никогда не выигрывал и не выписывал газет.

И вдруг случилось так, что спокойное течение его жизни нарушила молодая девушка, пути обоих пересеклись; ее звали Эльвира Шмидт, и она являлась руководящим сотрудником Кредитного банка. Эльвира была помолвлена с неким доктором Хапеком, заведующим производством на одной преуспевающей лимонадной фирме. По воле различных запутанных обстоятельств вечером, накануне того самого дня, когда Эльвире суждено было сыграть весьма важную роль в судьбе Маркуса Меринга, между женихом и невестой случилась размолвка. И теперь, на следующий день, девушка предавалась печальным мыслям. Перемещая по монитору ряды чисел, она сокрушалась о неудавшейся жизни и злосчаст-

ной судьбе. И вздохнув — перед глазами образ суженого, — нажала не на ту кнопку.

Даже компьютер, скромная, но добросовестная «ай-би-эмка», почувствовал что-то неладное и спросил: «Are you sure? (Yes/No)».[1] Но Эльвира, полуслепая от слез, не вняла предостережению и длинным ногтем мизинца коснулась клавиши «Y». Тут же через миллионы схем понеслись импульсы, и в глубинах невидимого электронного мира начали свершаться большие изменения. Эльвира вздохнула еще раз, поднялась и на высоких каблуках, словно на ходулях, зацокала на обеденный перерыв. С каждым шагом она все дальше удалялась из жизни Маркуса Меринга. Точка пересечения осталась позади; дороги разошлись.

Потом наступил солнечный полдень. Только под вечер потянулись облака, сначала маленькие, очень высокие и живописно переливчатые. Ни месяц не вышел, ни звезды, и небо задернулось плотным занавесом из темноты. Когда Маркус Меринг возвращался с работы, упали первые капли; когда добрался до входной двери, грянул первый гром. Из окна он наблюдал за

---

[1] Примечания: 1

«Вы уверены? (Да/Нет)» *(англ.).*

стремительным отблеском молний над крышами; буря неистовствовала; небосвод покачнулся. Этой ночью он почти не спал. Дождь отбивал по стеклу барабанную дробь, отзывавшуюся в его голов!. А еще шумел ветер, словно весь мир пребывал в движении.

Когда Маркус открыл глаза, уже рассвело. С кровати виднелась верхняя половина окна и кусочек неба между гардин в желтую крапинку. Было почти тихо, только приглушенный шум моторов доносился с улицы. Он не заметил, как заснул, и это казалось странным. И даже видел сон! Хотя уже ничего не помнил. И, верно, хороший сон, полный людей и событий.

По-прежнему шел дождь. Но слабый, и воздух был прозрачный, почти как летом. Маркус встал, открыл окно, сделал вдох и прислушался. С лестницы послышалась тяжелая поступь шагов: почтальон.

А теперь, живей! Почистить зубы, умыться, одеться, завязать галстук, нырнуть в серый пиджак. Уже поздно!

Выходя из квартиры, он наступил на бумаги. Почта: пестрый ворох брошюр и проспектов. Донельзя улыбчивое лицо политика. Открытие: пиццерия Гвидо. «Глотни-ка пивка». Две дамочки

в купальниках. Торжественно-серый конверт — христианская благотворительность. И письмо из Кредитного банка, обычная выписка из счета. Маркус все сгреб, положил письмо в карман, остальное отправилось в мусорную корзину. Потом он ушел.

Вода бежала по его волосам и затылку, затекала за воротник. Он вытащил конверт Кредитного банка и вскрыл. Третьего дня он купил новые ботинки и отдал в починку радио. На счете оставалось немного…

На вес бумажка казалась тяжелой, от сырости на ней нарисовались темные разводы. Маркус прикрыл листок рукой, прищурился и напряженно всмотрелся.

Он не то чтобы удивился. Удивление способны вызывать газели, явления бледных призраков, озаренное солнцем море, но только не ряд плохо напечатанных цифр на размокшей бумаге. Недоразумение, что же еще. Банки тоже ошибаются… Он уныло улыбнулся.

И вдруг стало нечем дышать. Он остановился и прислонился спиной к стене дома. Жар тонкой острой стрелой пронзил его тело, расхлябанный от дождя мир вокруг резко пошатнулся.

— Вам нехорошо? — спросил голос.

Маркус что-то пробурчал и побрел дальше, осторожно, соразмеряя шаги с покачиванием земли. Зеленая скамейка, пританцовывая, выступила вперед; Маркус протянул руку к спинке, промахнулся, поймал, на ощупь обошел вокруг и сел. Над головой клокотала вода; навес из молочного стекла защищал его от дождя. Остановился автобус, открыл двери и замер в ожидании — Маркус не поднимался, и автобус поехал дальше.

Всматриваясь в бумажку, он начал осторожно подсчитывать нули. Каждый означал умножение; и так, от нуля к нулю, сумма взвинчивалась в сферы чистой математики. И это были деньги. Деньги! Деньги на его счете.

Но, разумеется, не его собственные. В реальности вообще не существующие, просто недоразумение, опечатка, бестелесный туманный призрак из чисел. Ему никогда не превратиться в материю, в подлежащие перечислению купюры, в его, Меринга, наличные, которыми поигрывают в кармане брюк. Тут, на бумажке… нет, это не деньги, это чернильные пятна.

Но все же велика сила духа. И банкноты — всего лишь цветная бумага, знаки, но знаки чего — толком никто не знал. Биржи, где легионы при галстуках размахивают руками, есть рынки, на

которых идет торг абстракциями. Деньги — всего лишь идея, обязанная своим существованием бумаге и мониторам — и все-таки идея, имеющая власть над действительностью! К черту, если здесь указано, что это принадлежит мне…

По крайней мере отважиться и попробовать можно. Только шутки ради, никакого риска. Как, к примеру, вот такое: «Я бы хотел закрыть счет»? И тогда они, конечно, заметят. Но может быть, может быть, может быть — да, может быть, и нет. Ничего рискованного. Он судорожно улыбнулся этим глупостям, и тут размытая мерцанием группа людей сложилась в картинку: Ахав и Измаил, лорд Джим и Ностромо, великий Ностромо. Да что же это, господа, здесь вам не место! А если не знаете: на залитых дождем пригородных улочках вы превратитесь в посмешище! Но Ностромо широко улыбался, а деревянную ногу черноборо-дого Ахава защемило в решетке водоотводного люка; тот забряцал своим гарпуном по асфальту, выдернул ногу, освободился, потерял равновесие, крепко схватился за ближайший фонарь, после чего с достоинством заковылял дальше. Видение рассеялось. Маркус Меринг сидел, окутанный автомобильным шумом будней, и вдруг ощутил в себе нечто, похожее на решение.

Он посмотрел на часы, рабочий день уже начался. Ничего страшного, он еще ни разу не опаздывал, можно придумать отговорку. А теперь в банк. Он встал и пошел, сначала медленно, потом быстрее, потом еще быстрее.

Кредитный банк. Серебристое здание, большой зал — кристально светлый, окруженный двойным рядом торжественно-мраморных колонн; каждый сантиметр сверкает богатством и изяществом. Филиалы за границей: в Люксембурге, Монтевидео, Гонконге, Нассау, Буэнос-Айресе. Широкая база клиентов; мелкие вкладчики, честные трудяги, но также и космополиты, говорящие на многих языках и прилетающие из дальних стран на личных самолетах. Банком владеет общество с латинским названием, а уж кому принадлежит оно, никто не знает, даже — так говорят — Ян Хёффер, директор, чей французский словно сшит на заказ, как его костюмы. Но вернемся к нашей теме: Кредитный банк — и это не подлежит сомнению — институт с почти неограниченной ликвидностью, заслуживающий всякого доверия. Стеклянная дверь поддалась, и Маркус Меринг вошел внутрь.

Он был клиентом банка уже много лет, и поэтому роскошь его не ослепила. И все-таки он

устремился к окошку, нервно теребя узел галстука и суетливо оглядываясь по сторонам. Что я здесь делаю? Что, черт побери, я делаю?…

По всей вероятности, произошла еще одна случайность: молодая девица, двадцати семи лет, умная и честолюбивая, всякий раз поджидавшая его на этом месте и имевшая некоторое представление о его истинном финансовом положении, лежала дома в постели. Три дня назад ее свалил грипп (о, эта изменчивая погода, коварный дождь, холод) и будет мучить наверняка еще неделю. Ее замещала симпатичная двадцатидвухлетняя девушка, сама простота. Она подняла свои переливающиеся зеленые глаза на Маркуса.

— Я, — Маркус откашлялся, — хотел бы закрыть счет.

— Да, пожалуйста. — Очевидно, девушка работала в банке совсем недавно и еще не знала, что в ответ на подобную просьбу нужно изобразить растерянность. — Номер вашего счета? И, будьте добры, покажите ваш паспорт…

Маркус посмотрел на карточку, сверил номер и положил паспорт на мраморную стойку. Девушка мило улыбнулась, ее пальцы заплясали по клавиатуре — и вдруг она приняла серьезный вид.

— Вы действительно хотите… все снять?

Сердце Маркуса Меринга стучало все громче и громче, биение наполняло грудь, подступало к горлу, начинала трещать голова. Он кивнул.

— Совершенно верно. Наличными, если можно. Девушка растерянно посмотрела на него, потом на монитор, потом снова на него.

— Простите, вы не могли бы секундочку подождать? — Она встала и поспешно удалилась.

Руки Маркуса Меринга легли на холодный мрамор. Он ждал. Перед глазами расплывались каменные узоры, сердце колотилось по-прежнему, все быстрее и быстрее. Только спокойно, никакой опасности нет. Ошибка обнаружится, разумеется, ее заметят, но к нему не придерешься. Он, так же как они, изобразит удивление, никто не докажет, что он уже видел выписку из счета, что он знал об ошибке. «Я хотел бы закрыть счет», — сказал он. Все совершенно законно. Он не сделал ничего дурного, совсем ничего.

Маркус наблюдал, как в отдалении девушка беседовала с другой женщиной, та наклонилась к телефону и набрала номер. Подошел молодой человек, все трое смотрели на монитор и тихо переговаривались. Принтер выбросил листок бумаги; потом к этим троим присоединился солидный господин; наморщив лоб, он стал рас-

сматривать листок и давать указания. Женщина ушла, молодой человек, потирая руки, последовал за ней, показался служащий в серебристых очках и с кожаной папкой под мышкой. Зазвонил телефон, солидный господин снял трубку, скроил серьезную мину и быстро заговорил; служащий с папкой шепотом высказывал свои соображения.

В конце концов солидный господин покачал головой, движением руки спугнул остальных и, подавшись корпусом вперед и сложив за спиной руки, направился к Маркусу.

По всей видимости, это был директор. Костюм мягко облегал чуть искривленную фигуру; значка с именем он не носил. Когда их отделяли лишь несколько шагов, он проделал фокус: поднял руку, провел ладонью по лицу, и оно вдруг засияло улыбкой.

— Простите, господин Меринг. Ваша просьба поставила нас в некоторое затруднение. Но нет ничего, с чем бы мы не могли справиться, ничего, поверьте. Видите ли, суммы подобного порядка не всегда имеются в наличности; я бы вас попросил в будущем извещать нас за несколько часов. Но на этот раз — он с гордостью приподнялся на цыпочках и качнулся вперед — мы можем сразу выплатить все сполна. Для таких клиен-

тов, как вы, господин Меринг, мы делаем все от нас зависящее, это наша гордость. В следующий раз, пожалуйста, проходите прямо ко мне, а не к окошку!

— Конечно, — просипел Маркус. — Так и сделаю. Спасибо.

— С вашего разрешения, придется еще несколько минут подождать. Смею ли я просить вас пожаловать ко мне в кабинет? Не желаете ли кофе? Или чего-нибудь другого? Я директор, Ян Хёффер!

И он протянул дряблую руку; Маркус схватил ее и машинально пожал.

Кабинет Хёффера был огромен; четыре высоких окна направляли солнечные лучи на толстые листья тропических растений. На письменном столе лежала золотая ручка со сверкающим титановым пером. Акварель на стене изображала багровые, озаренные светом цветы, внизу — хорошо разборчивая подпись: Шагал. Все это слегка напоминало театральные декорации. Хёффер молча указал на кресло; Маркус сел и попытался все спокойно обдумать. «Это совершенно исключено, это не может пройти гладко. Ну, и что же делать? Теперь уже слишком поздно, нужно продолжать. Продолжать…»

— Нет, спасибо, — тихо сказал он. — Не нужно кофе!

«Но ведь это никогда, ни при каких обстоятельствах, не кончится добром!»

Дверь открылась, и вошел молодой человек в серебряных очках. Вместо папки он держал узкий чемоданчик.

— Так! — воскликнул Хёффер. — Кажется, все в порядке! Пожалуйста, господин Меринг, только не подумайте, что это было просто, за такое короткое время! Существует не так много банков, заявляю это со всей скромностью, которые способны удовлетворить подобную просьбу так скоро. Я думаю, у вас есть все основания быть нами довольным. У вас и… — он многозначительно улыбнулся, — у ваших сотрудников, — и открыл чемоданчик.

Маркус обомлел. Нет, конечно же нет. Ведь это только бумажки, простые, отпечатанные, маленькие перевязанные пачки, целый чемодан, набитый цветными бумажками, не более того. Хорошо-хорошо, пусть он не обомлел, но затрясло его по-настоящему.

— Чудесно, не правда ли? — спросил Хёффер. — Да, прекрасная картина, не устаю любоваться. Желаете пересчитать?

Маркус замотал головой, а Хёффер что-то сказал о доверии и о том, что он весьма тронут.

— А как насчет… как вы собираетесь их везти, в сумке?… Нет? Тогда, пожалуйста, возьмите чемоданчик. Нет, я настаиваю! Рассматривайте это как… ха-ха, как подарок фирмы!

И он закрыл чемоданчик, щелкнув замками.

— Могу ли я, господин… Меринг, еще что-нибудь для вас сделать?

Маркус уставился на чемодан, потом на Хёффера. И вдруг оцепенение прошло; он почувствовал, как глубоко в горле поднималось бульканье, а в уголках рта расплылась глуповатая улыбка. Сглотнул, хотелось прокашляться. Потом покачал головой.

— Для этого мы и существуем, — сказал Хёффер, отвесил поклон и тихо засмеялся. Маркус подхватил директорский смех, и вдруг его захлестнула волна безудержного веселья, так что даже заболел живот, и он стал ловить ртом воздух…

Когда все прошло и Маркус, чувствуя на щеках тепло от слез, поднял голову, то встретился с серьезным, удивленным взглядом Хёффера. Он перепугался, схватил чемодан и вскочил.

— Спасибо, господин директор! Мне нужно… теперь дальше!.. Еще одна встреча!

Ничего более глупого он не мог придумать: цвет глаз у Хёффера изменился, взгляд сделался холодный и задумчиво-синий. Маркус стремительно протянул директору руку; пожимая ее, тот смотрел на Маркуса с недоверием.

— До свидания, — еще раз повторил клиент, распахнул дверь и не оглядываясь вышел.

Теперь к выходу! Поскорей убраться отсюда! Маркус обежал одну из мраморных колонн, столкнулся с блондинкой и, не извинившись, пустился дальше. За спиной послышалось «идиот!», на несколько секунд, в течение которых притупилось даже чувство пульсирующего страха, он обозлился на девушку, но потом забыл ее навсегда. Эльвира Шмидт, схватившись за ноющий от боли локоть, прошипела сквозь зубы несколько ужасных слов и села за свой письменный стол. Через две минуты боль прошла, и девушка больше уже не думала о грубияне, который наскочил на нее и по вине которого она через два дня потеряла работу.

За несколько метров до выхода некто преградил Маркусу дорогу: молодой человек с папкой.

— Господин Меринг!

Маркус замер как вкопанный.

— Да?

— Будьте любезны, распишитесь вот здесь. — Он протянул маленькую, бледно отпечатанную бумажку, стальную ручку и папку.

Маркус сунул чемоданчик под мышку, взял папку, положил на нее бумажку (цифры, слова между ними — кого это интересует) и там накалякал что-то, похожее на фамилию. Человек вежливо откланялся и дал дорогу. А теперь вон отсюда! Электронные раздвижные двери не подвели, выход открылся. И он наконец-то оказался на улице.

По-прежнему шел дождь. И по-прежнему шли люди, по-прежнему мельтешили вокруг плащи, шляпы, искусственный мех, зонтики. А что теперь?

Маркус Меринг робко огляделся по сторонам, сделал несколько шагов — сначала в одном направлении, потом в другом. На первом же перекрестке снова остановился. Прямо? Или направо? Налево? И вообще куда?… Рядом с ним протянулись стеллажи книжного магазина; стопка бестселлеров, над ней — отягощенное бородой, глубокомысленное лицо автора. Но теперь даже от книг нечего ждать помощи.

И вдруг Маркус ясно осознал, что произошло. Он больше не принадлежал к обществу поря-

дочных людей, не был одним из них. Прощайте, беззаботные прогулки, прощай, мирный сон, прощай, покой, ведь ночью по пустынной улице бродит полицейский. И прощай, работа, никаких печатей, никаких бланков. Отныне все по-другому.

Но он же ничего не сделал, он не солгал — просто взял то, что ему дали! Совершенно само собой, почти без его участия, так уж получилось, что он — именно он — тот, кто всегда платил за воскресную газету и ни разу не ездил зайцем, — вдруг оказался вне закона и морали. Отныне ни безопасные улицы, ни надежные дома, ни точные трамваи и автобусы — здесь больше ничто не служит ему защитой. Маркус, тебя будут преследовать до скончания времен.

Значит, так тому и быть, ты все вернешь назад!.. Сейчас же, немедля, еще не поздно! Беги же! Скажи им, что ты просто решил проверить, сработает ли; скажи, что это была шутка; скажи что угодно — только отнеси деньги обратно. Может, с тобой ничего не сделают, может, еще есть время предотвратить самое страшное…

Маркус повернулся, поднял ногу, снова опустил, оперся рукой о стеклянную витрину и тихо застонал. Стоявшая по другую сторону стекла

женщина с пучком седых волос и двумя толстыми книжками в руках неодобрительно посмотрела на него и расплылась в тумане, замешанном на страхе и тошноте. Верни деньги! Тогда, только тогда все пойдет своим чередом, как прежде. Вернется уверенность, вернутся прогулки, вернется покой. Вернется работа.

А значит, и печати, и письменный стол, и пластмассовые ручки, и пустые, убегающие в ночь вечера. И книги, пророчащие то, что никогда не сбывается.

Он расправил плечи и поднял руку. Если сейчас же остановится такси, тогда… — да, тогда он сядет.

Такси остановилось. Большой отполированный белый «мерседес» со сверкающими стеклами. Маркус уставился на него, медленно протянул руку к двери — твердый металл ответил на его прикосновение, не растворился в воздухе — и дернул. Дверь открылась; мужчина — каштановые волосы, нос картошкой, моржовая бородка — обратился к нему.

И вот он уже в машине. Неужели он? Ну, разумеется, это он. Рядом с водителем, чемоданчик на коленях. Пахло сигаретами, но было тепло и сухо. Дождь нервно стучал по стеклам.

— Ну что? — спросил водитель. — Куда поедем?

Да, куда? Домой? Но там его наверняка уже ищут. Вся страна, прежде такая огромная на картах, вдруг стала ничтожно маленькой. Старая Европа со всеми ее границами и несметными достопримечательностями, знакомыми лишь по картинкам, теперь оказалась тесной. Если они и впрямь будут его везде искать и загонят на край света, тогда ему нужно именно туда: на край. Источающее жар море, знойное небо, холодные ночи. Царство Мэрлоу, Гульда и Нострómo. Да еще прибежище беглых военных преступников и диктаторов; если уж они находились там в безопасности, значит, и ему она будет обеспечена. Маркус запустил руку в карман пиджака: там лежало что-то твердое и плоское; это был… — с какой стати у него с собой паспорт? Он не мог припомнить, когда положил его туда.

— В аэропорт, — сказал он. — В аэропорт.

Они ехали молча. Дважды водитель приступал к анализу политической ситуации, но Маркус оставался равнодушным, и тот затих. Маркус думал о квартире, о кресле и книгах, о кровати и занавесках в желтую крапинку. И о своем стихотворении в ящике письменного стола. Какой-то

незнакомец, наверное, берет его сейчас в руки и читает, и потешается, и… Нужно вернуться! Нет, это невозможно; все решения уже приняты. Что-то унылое и гнетущее сдавило шею, легкие, желудок.

Он не летал ни разу в жизни, ни разу в жизни не видел аэропорта, ни разу в жизни даже такси не ловил. (Хотя нет: на такси однажды, в детстве, ездил с отцом.) Путь был неблизкий, и Маркус с беспокойством следил, как росли цифры на освещенном счетчике. Глупая старая привычка; теперь он мог волноваться о чем угодно, за одним исключением: только не о деньгах.

И вот показался аэропорт. Невысокая стеклянная крепость, оцепленная башнями и антеннами. С неба раздался стальной гром, Маркус невольно втянул голову в плечи. Такси остановилось, он расплатился. Денег в бумажнике в аккурат хватило.

Прошло некоторое время, прежде чем он сообразил, куда идти. Зеркальный, хорошо вычищенный туалет: дважды проверив, что кабинка закрыта, он отважился открыть чемоданчик и вытащить пачку. Двух купюр из нее оказалось достаточно на билет в далекую страну на далеком континенте — внизу, если смотреть на карту

мира. Стада буйволов и равнины, песни и костры в сумерках. Серебряный клад Ностромо.

Целый час он просидел в зале ожидания, листая напичканный насилием глянцевый журнал. Погрязшие в коррупции политики, взяточничество, отмывание денег и убийства, мафия. Когда по залу прошествовали двое в форме, у Маркуса от страха закружилась голова. Но это оказались обыкновенные летчики.

Потом ему предстояло пройти контроль на металл и — дрожащими руками — отдать чемоданчик на просвечивание жужжащей машине. Но внутри не лежало ничего железного, и его никто не открыл. Можно было идти дальше.

Его ждал комфортабельный самолет: бизнес-класс — уже одно название многозначительно указывало на то, какие здесь путешествовали важные персоны. Мягкое кресло, приветливая стюардесса. Плавный взлет.

Маркус выдохнул. Ух!

Итак, он улизнул. Он сделал это. Маркус запрокинул голову — над ним, в ящике для ручной клади, лежал чемоданчик — и погрузился в мечты, летя навстречу цели, которая была не больше, чем пара слогов с экзотическим звучанием. Все, решительно все станет теперь по-другому.

Туман разорвался; солнце вспыхнуло, и над белыми пенными клубами гор разлился огненный свет. Маркус зажмурил глаза и приложил руку к виску; он еще ни разу не видел столько света. Сочно-синее небо сверкало, словно драгоценный камень, и в самой его середине, как несказанно добрый Бог, плыл солнечный диск. Маркус закрыл глаза, продолжая следить за тем, как переплетались в темноте расплывчатые желтые фигуры; красота пылала на его сетчатке.

Облака исчезли, и выстроились игрушечные города с кусочками ваты на длинных трубах. Показались покрытые мхом зеленые поля, рассеченные тонкими карандашными линиями, вдоль которых скользили крохотные солнечные зайчики. И горы: зубчатые холмы из гранита с прожилками и нарисованными водопадами.

А потом открылся океан. Гладко выглаженный шелковый платок, переливающийся всеми оттенками синего. Время от времени проплывали маленькие кораблики, каждый делал на ткани изящный разрез. Через несколько часов солнце закатилось в море: красный накаленный диск растворился, вдоль горизонта побежали, уменьшаясь, огоньки; очень далеко другой самолет раскрашивал фиолетовым полоску света. Потом

тонкой дымкой поднялась из воды чернота и стала уноситься все выше и выше в небосвод. На короткое время в воздухе еще заиграл рассеянный свет непонятного происхождения. Потом наступила ночь.

У толстяка, сидевшего рядом с Маркусом, газета соскользнула на колени, и он захрапел. Маркус смотрел на него с удивлением: как только можно спать! Вот уже целую вечность он не чувствовал себя таким бодрым.

За окном, сверкая звездами, расползалась тьма. Он прислонил голову к холодному стеклу и подумал о другом Маркусе Меринге, своем двойнике в параллельной вселенной. Тот, наверное, повеселился, посмотрев выписку из счета, и отправился на работу; возможно, даже — ведь он отличался порядочностью — позвонил в банк и сообщил об ошибке. Примерно в это время двойник возвращался домой, под низким городским небом. Но что если он и был настоящий, а здесь, в самолете, со всеми деньгами — бредовое видение? И сейчас тот, настоящий Меринг, снова проснется в старой квартире, в старой постели — да разве можно такое пережить?

Он закрыл глаза и прислушался к моторам, бормотанию людей, храпу соседа. Подумал о про-

шедшей жизни: от нее в памяти осталось лишь немногое. Потом попробовал нарисовать будущее, но ничего не получалось: оно оставалось размытым и далеким. А потом он вдруг очнулся верхом на большой золотой рыбине, каким-то образом являвшей собой пианино, и поскакал по озеру, напоминавшему детские качели, и во всем этом не было ничего удивительного — сон подступил незаметно. Случилось и еще кое-что, но голос пилота по радио, пожелавшего на четырех языках доброго утра, вернул Маркуса к действительности. И все картинки из сна утекли, прежде чем память смогла их удержать.

Теперь небо казалось белесым и пасмурным, через образовавшиеся в тучах трещины виднелась скучная серая земля. А потом, пристегнув ремни и заняв свои места, они стали снижаться, рассекая плотные облака. Внизу расстелилась посадочная полоса, приняла их с приглушенным ударом и постепенно высосала из самолета всю скорость. Желтая разметка бежала все медленнее и медленнее; и наконец они встали.

Зал нисколько не отличался от того, из которого Маркус вылетел накануне. Похожие табло, похожие непонятные голоса из громкоговорителя, похожие люди, быть может, чуть смуглее и

бородатее. Какая-то женщина продавала вафельную выпечку, приправленную сверху дымящейся массой, и что-то выкрикивала жалобным пронзительным голосом. В толпе шныряли лупоглазые дети. И очень непривычно пахло: немного едой, немного бензином и сигарами. Вывеска «Exit» указывала на выход. Эскалатор не работал, и Маркус отправился пешком, изо всех сил сжимая ручку чемоданчика. А вот и стеклянная дверь, выпустившая его на улицу, на свободу.

Шел дождь. Значит, и здесь случаются дожди. Он стоял на тесной площади, полной людей, криков и шума. За площадью пролегла дорога: четыре полосы, наводненные гудящими автомобилями. Но вдоль дороги росли три склоненные пальмы, а на пригорке неподалеку человек вел за собой осла.

Итак, что теперь? Ну, для начала взять такси. Потом найти гостиницу и банк. Нет, лучше сначала банк. Но еще лучше — несколько банков. Нельзя доверять все одному, известно же, банки тоже могут ошибаться. Он захихикал и вышел на площадь. Как-нибудь все образуется.

А в другом полушарии лежали поприща былого. Теперь, без него, они, возможно, превратились в развалины, как сложенные на складе декора-

ции. Возможно, исчез и весь город — фантом, в который больше никто не верил.

Только бы не наоборот! Только бы это, здесь, не обернулось сном, только бы не раскололось небо и через возникшую трещину не просочился утренний свет и писк будильника! Из всех страхов — а он боялся ограбления, боялся несчастного случая или Интерпола — этот самый жуткий и не пройдет никогда. Он никогда не будет уверен, что в следующую секунду после пробуждения краски не исчезнут с горизонта. Можно ли и впрямь, подобно бедному халифу из сказки, прожить полжизни и обнаружить, что прошла только одна ночь, на четвертом этаже за занавесками в желтую крапинку?…

Маркус в замешательстве замотал головой и махнул машине, похожей на такси. На мгновение земля ушла у него из-под ног и все опрокинулось в странную нереальность; он стиснул зубы и собрался. Мир с неохотой снова принял привычные формы. Машина остановилась.

Чемоданчик в руке вдруг необыкновенно отяжелел, и захотелось во что бы то ни стало поставить его на землю. Дверь открылась, водитель с любопытством разглядывал Маркуса Он напоминал вчерашнего шофера, даже такая

же бородка. Теперь оставалось только сесть. «Ну, и… почему бы не поиграть, пока играется!» Маркус нагнул голову и осторожно забрался в машину. Откинулся назад и положил руки на чемоданчик.

И они поехали.

Убить

Первым делом эта собака. Она торчала там. Вечно торчала там. Огромная овчарка — светлая шерсть, свисавшая чуть ли не прядями, уши торчком и продолговатые красные глаза, в которых не отражалось ничего, кроме слепой злобы. И конечно же зубы; да какие зубы!

Она уже три года назад там околачивалась. И пять лет назад. И даже десять. Всегда стояла за забором, впившись в тебя глазами, потом медленно обнажала зубы, а из пасти раздавалось тихое низкое рычание.

И это все омрачало — каждый день, каждую ночь (ведь по ночам начинался лай; она облаивала машины, месяц или видения из своих снов). Ее держали соседи: вечно потный толстяк, неразговорчивый, гордившийся тем, что пес мог загрызть насмерть. Соседа побаивались, но, вероятно, просто потому, что его образ прочно связался с образом его питомца: овчарка была злом, подстерегавшим в засаде, страшной опасностью, грозившей оборвать каждое мгновение. Все надеялись, что в один прекрасный день собака исчезнет или умрет; но она жила. Она казалась

бессмертной.

Настоящий ад наступал в летние каникулы. Когда от травы поднимался желтый жар, небо, словно из раскаленного железа, висело низко и тяжело, время стояло на месте, и все замирало, во всем мире. И оставалось только сидеть на полу и листать комиксы (ну и идиот же этот Микки) и слушать телик — смотреть не стоило. А еще: однообразный, как текучая вода, шум автомобилей под мостом. Ко всему этому прибавить лай и изредка гул самолетов. Так было в десять лет, в одиннадцать, в двенадцать. Казалось, ничего не изменится. И в тринадцать. И в четырнадцать.

Он зевнул. Зевнул еще раз и посмотрел на часы: почти все то же, что и пятнадцать минут назад. Солнце нещадно палило, отражаясь на подоконнике, паучок бежал вверх по стене. Он снова зевнул.

Сестра перевернула страницу журнала. Гудел телевизор. Вот и на нее напала зевота. Она на два года старше: короткая юбчонка, блузка без рукавов; белые груди не слишком большие, зато четко обозначенные. Он медленно поднял на сестру глаза. Но та не обратила никакого внимания.

Паук добрался до потолка, остановился, словно пятно на обоях. По телику с музыкой шла рекла-

ма моющих средств: домохозяйка улыбалась, размахивая полотенцем…

— Когда, — спросил он, — будем есть?

— Что? — не глядя, спросила сестра. И перевернула страницу.

Ответа не последовало. Рядом залаяла собака. Тень о четырех лапах мелькнула на подоконнике, озаренная встречным светом, — кошка. Вероятно, соседская. Провела хвостом по стеклу, движения легкие, удивительно нежные. Спрыгнула с подоконника, растворилась в ярком свете.

По телевизору показывали человека: тощего, бледного, в водолазке. Рядом на кухне что-то звякнуло и разбилось.

«Вопросы, — сказал человек, — *которые встают перед, нами, которые ставятся нами. Ибо все мы…* — голос слишком высокий и какой-то неуверенный. Словно микрофон был не в порядке. — *Блаженный Августин говорит о небытии, об отсутствии, в определенном смысле — о бреши. Мы называем это „злом“, но такое определение сбивает с толку. Речь идет всего лишь об отсутствии добра, зло само по себе, не… — как бы получше выразиться? — зло нереально».*

— Выруби! — сказала сестра. И перевернула страницу. Паук скрылся. Из кухни послышался

скребущий шум: подметались осколки.

«Ибо сущность зла — именно в небытии и в отсутствии. Поэтому оно бессильно, поэтому нереально, не...»

— Выруби!

Он не хотел. Не потому, что было интересно, а просто так — он никогда не делал того, о чем она просила. Бабочка стукнулась о стекло, крылья с темно-красным отливом, в лучах солнца кружились серебристые пылинки. Он зевнул, на глазах выступили слезы, и комната расплылась в светлом тумане. Нащупал пульт: не затевать же ссору из-за этой ерунды! Нажал кнопку выключателя: водолазка стушевалась в электрической вспышке. Экран почернел, и в нем словно в зеркале отразились окно, диван, а внизу — он, сидящий на корточках: малорослый (все говорили — коротышка), нерасчесанные волосы, мятая рубашка.

Он поднялся. Ноги болели, левая зудела, почти затекла. Направился к двери — когда поравнялся с сестрой, та даже не удостоила его взглядом, — и вышел на улицу. В сад.

Зажмурился, яркий свет резал глаза, вспышкой отдаваясь в голове. А теплый воздух как стоячая вода, шаг — и она вяло потекла вокруг ног, рук, шеи. Он стоял и ждал, надо было привыкнуть.

Впереди раскинулась лужайка, пять на десять, за ней — зеленый забор из проволоки. За забором (лучше не смотреть) что-то шевелилось — собака. Перед забором — цветочки, и они качались туда-сюда, хотя ветра не было. А он бы не помешал. На лужайке, в самой середине, разлеглась кошка.

Собственно, она даже не лежала, а ползла. Тело на земле, голова опущена, лапы поджаты. Причудливые плавающие движения, беззвучные, усы и волосики на ушах светились, когти на лапах — но, возможно, это только казалось — далеко выпущены. Красная бабочка приземлилась на траву, на секунду замешкалась, а потом полетела дальше, вспыхивая маленьким огоньком. А вон и другая котяра. Крупнее первой, с длинной пушистой шерстью. Уставились друг на друга, изогнувшись и выпучив глаза. Их разделяло метра два, а может, и меньше. Да еще жара, да яркий свет, да неподвижный воздух; одна тихо зашипела, другая подалась назад, немного, на несколько сантиметров…

Раздался смех сестры. Он обернулся: та отложила журнал, откинулась назад и, хихикая, смотрела через открытую дверь.

— Заигрывают, — пояснила она. — Мальчик и девочка. Прелесть, правда?

Вдруг одна кошка прыгнула — другая, фыркнув, отступила, но совсем чуть-чуть, и потом, на долю секунды, обе превратились в вертящийся визжащий шерстяной клубок; вдруг он распался — одна кошка пустилась наутек, в заросли, другая устремилась за ней, и обе скрылись; некоторое время еще качались и шуршали кусты и маленькие листочки сыпались на землю, а рядом заливался пес; потом все кончилось. Наступила тишина, только собака рычала да выла машина, заведенная каким-то болваном. И опять появилась бабочка. Сестра все еще покатывалась со смеху, он пожал плечами и пошел.

Через калитку, на улицу. Здесь не было ни души: асфальт блестел, на капотах припаркованных машин светились солнца. Перед каждым забором стоял черный мусорный бак. В воздухе носился легкий запах еды, пахло жареным и овощами — все эти людишки сейчас готовили. Он сунул руки в карманы и побрел дальше.

Несколько шагов собака сопровождала его по другую сторону забора. Молча и сосредоточенно; он старался туда не смотреть. Собака издала низкий странный звук, не похожий на рычание. Он ускорил шаг, начался другой забор, за ним следующий; он с облегчением вздохнул.

И вдруг остановился, нагнулся и что-то поднял: красный кирпич. Нога болела, резкая обжигающая боль, кой черт бросил здесь кирпич! Захотелось швырнуть его подальше, но потом… он зашагал вперед. Кирпич лежал в руке. На ощупь шероховатый и твердый, ощущение на редкость приятное. Дорога шла в гору, поднималась, переходя в мост. По середине моста — точно посередине, на это указывала маленькая белая метка на перилах — он остановился. Он сам ее сделал, уже много лет назад.

Там, внизу, проселочная дорога, обсаженная деревьями: зелеными шишковатыми вязами с переливающимися листьями. И никакого движения, до самого горизонта, и это было почти красиво. А вот и машина: растущая точка обретала формы, принимала очертания, гудя, приближалась, шмыгнула и со свистом — словно кто-то втянул в себя воздух — скрылась под мостом, снова вынырнула с другой стороны, гудение становилось ниже, машина уменьшалась, растекаясь в ярком свете, исчезла. На некоторое время воцарилась тишина, потом показалась следующая машина. Словно кто-то всем заправлял, следя за тем, чтобы правильно соблюдались минутные интервалы. Так уж издавна повелось.

Невзирая на палящее солнце, он не потел, жара была совсем сухая, насыщенная одним только светом, светлым теплом, никакой влажности. И все равно ветерок пришелся бы очень кстати.

Он взялся за перила и в испуге отдернул руку; боль впилась в кожу и теперь медленно отпускала. Железо (он дотронулся еще раз, осторожно, одним пальцем) накалилось — не прикоснуться. Справа от дороги стояли дома: с крышами, красными дымовыми трубами, антеннами; слева развернулись луга, коричневые незасеянные пашни, а дальше — холмы, холмы до самого горизонта: низкие зеленые волны, словно намертво вмерзшие в землю. Окраина. Здесь никогда ничего не случалось. Здесь было покойно, мирно и ничем не примечательно; наверно, как там, куда попадаешь после смерти, где ничего не происходит и не произойдет никогда. По правую руку лежал город. Маленький городок — он знал здесь каждую улицу, каждый дом, но какой в этом толк… Прочь отсюда! Вот если бы уехать, не важно, как и куда!.. Главное, подальше!

Он сел, просунув ноги между прутьями перил. Асфальт был жесткий и теплый; он видел все как через решетку, словно его заперли; ноги свешивались через край моста в пропасть; болтая ими,

он чувствовал воздух, который ощущался почти как ветер, прохладный и приятный.

Надвигалась машина, шмыгнула, скрылась. Загудел самолет, описал поворот к солнцу и сгорел. Еще одна машина. Потом — ничего. Слева в полях стрекотали кузнечики: огромный многоголосый хор. Он посмотрел на часы. Стрелки не двигались. Закрыл глаза. Время как будто исчезло. И вдруг он подумал, что из настоящего вообще не выбраться, хоть ты тресни, что он навеки заключен в единственное, никогда и ничем не сменяющееся мгновение. Он тихо застонал.

И тут все сразу прояснилось: что-то произойдет. Что-то непременно должно произойти. Скоро.

Открывать глаза не хотелось. Так было приятно: светло и темно одновременно, тепло, трещали кузнечики. Поблизости лаяла собака. Он сделал глубокий вдох. Выдох. Потом зевнул.

На секунду ощутил, как было бы, если бы его не было. Если бы его не было на свете. Бесконечный и неизменный мир: то же небо, и та же дорога, и тот же волнистый горизонт, и сестра, и мамаша на кухне, и осколки (теперь уже их подмели) на полу, и обе кошки в саду, и соседская собака, и этот кирпич, и даже муравей, карабкавшийся по руке. А его самого — нет. Рука зачесалась, он

открыл глаза: снова этот муравей. Вытянул руку, встряхнул, и муравей исчез. Наверно, свалился вниз, на дорогу, потрясающее падение для такой малявки, почти бесконечное. Он улыбнулся, потом нахмурился. И вдруг стало холодно.

Теперь он знал, что произойдет.

Он поджал ноги, медленно поднялся. Колени болели. И хотя его бил озноб, он весь взмок. «Вот за этим-то я его и поднял», — подумал он. И огляделся по сторонам. Справа никого, слева никого, спящие машины, мусорные баки, ни одного человека. А вдоль проселочной дороги только деревья. Полдень: сюда больше никто не заявится, а те, кто здесь живет, сидят в своих гостиных и едят. И дома тоже скоро сядут обедать. Нужно торопиться.

Он выжидал. Руки дрожали. Он знал: в последнюю секунду что-то попытается его удержать и отвлечь, дабы, упустив момент, он остался таким, как прежде. Пот пробивал его все сильнее. В висках стучало, в ушах шумело, и дорога перед глазами (и небо, и деревья) мелькала, как в неисправном телевизоре. Он слышал свое дыхание и сердце. Хотел сделать шаг, но передумал, так как уже не доверял ногам. Он с трудом удерживал камень. Вдруг голова закружилась, земля утратила цвет и стала проваливаться…

И он услышал далекий, приближающийся шум автомобиля. Собрался с духом. Страх, дрожь и боль — вдруг все прошло.

Он был белый и длинный, и на капоте сверкала звездочка «мерседеса». Видимость на дороге как будто прояснилась, контуры машины вырисовывались теперь отчетливее и резче. Деревья — по-прежнему не шевелился ни один листок (хотя нет: вон упал один, медленно, по спирали, навстречу земле), холмы, дома справа, и ни одного человека. Хорошо. Он сделал вдох, он знал, что выдохнет только тогда, когда все будет кончено. «Мерседес» вот-вот покажется здесь, он ехал довольно быстро; тени деревьев, ритмично мелькая, проплывали по крыше; ветровое стекло окрашено небом в темно-синий. «Интересно, кто там сидит», — подумал он. И тотчас понял, что этот вопрос не даст ему покоя, не даст покоя всю жизнь. Он вытянул руку — правую, державшую кирпич, — вперед за перила.

Поймать момент, точно прицелиться и рассчитать. Глаз прищурился, дорога как будто придвинулась ближе, солнце повисло над крышей автомобиля; сейчас он появится здесь; кирпич был шершавый, довольно увесистый и тянул вниз; сейчас, нет, еще не пора, пока нет, и

вдруг ему вспомнилась сестра и (с какой такой стати!) человек из телевизора, еще нет… — пора!

Долю секунды он еще опасался, что откажет рука — пальцы не разожмутся; но все прошло очень легко. Потом почудилось, что камень никуда не полетит, а неподвижно зависнет в воздухе, просто не упадет… Он был здесь, пока здесь, все еще здесь. И наконец стал опускаться.

«Мерс» приближался, камень падал, два четких геометрических движения, две стремящиеся к одной точке линии, которые обязательно пересекутся, и вдруг все как-то странно замедлилось. И камень уменьшался, и автомобиль рос, и он еще успел подумать, что недолго и промахнуться или бросить слишком рано или слишком поздно…

Но камень попал прямо в цель. Нарастающая темная тень на голубом стекле, и потом с мелодичным звоном…

Отскочил в сторону. Словно приземлился на что-то мягкое, пружинящее. Описал маленькую кривую и отлетел на обочину.

И небо на стекле внезапно разорвалось, распалось на куски; это были — да! — трещины… И стекло посыпалось, исчезая в черной растущей дыре… в то время как машину заносило вправо, вбок, к другому краю. И вот она уже нырнула

под мост.

Он еще не выдохнул. Он повернулся и пустился бегом через дорогу. «Мерс» оказался быстрее: когда он перебежал на противоположную сторону, тот находился уже в десяти метрах, а может, дальше, далеко слева, и только теперь завизжали тормоза. Там еще стояло дерево, но оно не посторонилось, и капот машины с треском (он непроизвольно втянул голову в плечи) врезался в него, смялся, расплющился, словно сделанный из мягкого материала, из пластилина… Задние колеса прочертили на земле две кривые черные полосы и продолжали вертеться, прокладывая путь, а хвостовая часть, багажник и нервно раскачивающаяся антенна описывали полукруг вокруг дерева, машину стало разворачивать, разворачивать, из-под колес брызгами полетела галька, на одном из стекол блеснуло солнце, тормоза еще визжали, и потом «мерс» оттолкнулся от дерева и отскочил обратно, к забору; забор заскрипел и начал падать, завалился целиком (деревянный столб взметнулся вертикально в воздух и на мгновение как будто завис, потом рухнул на самую середину дороги и раскололся надвое по всей длине); птицы поднялись в воздух и с криком закружились над машиной. Над

замершей машиной.

Она стояла в палисаднике: задние колеса — в цветочной клумбе, передние — на лужайке, под днищем — повалившийся забор. На капоте глубокая и круглая вмятина, ветрового стекла как не бывало. Маленькое круглое облако дыма, переливаясь, как бы само по себе поднималось в воздух и рассеивалось. Стояла мертвая тишина. Кузнечики больше не трещали. Все замерло, везде, во всем мире. Воздух рябил; словно маленькие волны бежали по асфальту. Птицы, три дрозда, приземлились рядышком на лужайке.

Он выдохнул.

Он чувствовал, как набирал воздух и снова выпускал. Чувствовал, как представшая перед ним картина — автомобиль, забор и три дрозда — оседала в памяти. Отныне, с этого момента, она водворится там навсегда. Он это знал. От удара дерево покосилось, согнулось словно травинка. Теперь одна из птиц поднялась в воздух. И вдруг правая передняя дверь пришла в движение — очень медленно, хоть ее никто не тянул, под собственной тяжестью. Распахнулась да так и осталась открытой.

Он повернулся и дал деру. Уголком глаза еще успел заметить, как из дома вышла женщина

и бросилась к машине; в это же время на шоссе вдалеке показалась другая; и вдруг залаяла собака и затрещали кузнечики: все снова ожило. А он бежал. Опустив голову, уткнувшись глазами в землю, взгляд, словно пригвожденный к попеременно выступающим кроссовкам; никто не должен узнать его в лицо. «Нет, — подумал он, — это уж слишком. Никто не видел. Он уложился секунд за двадцать. А с тех пор как вышел из дома, прошло тоже каких-нибудь десять минут».

Вот и калитка. Он остановился, открыл дверцу, вошел. Возле дома алели цветы, на лужайке нежилась кошка, вытянув лапки вверх и тихо мурлыкая. Он наклонился и почесал у нее за ухом, та стала ласкаться к руке. Трава колыхалась, и кусты, и цветы… Он расправил плечи. Ветер! Да, прохладный, подвижный воздух, он лился с востока, и в нем раздавались приглушенный рев моторов и (так скоро?) завывание сирен. Ну и лай, конечно. Он застыл на месте и посмотрел за забор. Потом улыбнулся.

В гараже было темно — только через открытую дверь пробивалось немного света, одна из двух лампочек перегорела, — пахло плесенью, сыростью и бензином. Но он быстро нашел то, что искал: на деревянной полке лежали старые

инструменты, перчатки, мотки проволоки. Паук в испуге взбежал на стену и скрылся в щели; расставленная им сеть прилипла к пальцам; он стиснул зубы, стараясь подавить накатившую волной тошноту, и это далось на удивление легко, легче, чем когда-либо. Вот она, коробка, еще наполовину пустая. Белый порошок с резким запахом. «Беречь от детей». А вот и пластмассовая тарелка, немножко грязновата, но это все равно.

Потом он вернулся в дом. Телевизор выключен, сестры и след простыл, стол накрыт. Прошел на кухню.

Мать стояла у плиты в фартуке, с ложкой и в меховых тапочках; он даже на нее не взглянул.

— Отойди от холодильника! — заволновалась она. — Сейчас будем есть. Что ты там схватил?

— Ничего, — сказал он и закрыл дверцу холодильника. Он держал колбасу так, что мать не могла ее видеть. — Ничего! — повторил он. И вышел.

Сел на траву, прислонившись спиной к стене дома. Потом кружками нарезал колбасу; получилось не очень тонко, вдобавок он чуть не порезался. Осторожно, чтобы ничего не просыпать, наполнил тарелку крысиным ядом из коробки. Пальцем перемешал порошок и куски

колбасы, стараясь все равномерно распределить.

Встал. Ветер задул сильнее, приходилось прикрывать тарелку рукой; но все равно немножко порошка сдуло, и поднялось белое облако пыли. Теперь от тюльпанов исходил сильный аромат. Кошка гонялась за красной бабочкой, может, все той же.

Он перевесился через забор. Он сделал это впервые.

— Эй! — крикнул он. — Слышишь меня? Эй!

И вот она появилась. Рычащая тень устремилась вперед и бросилась на забор с таким неистовством, что проволочная сетка заскрипела.

— Хорошо! — приговаривал он, опускаясь на колени. — Хочешь есть?

Под забором была маленькая щель, сантиметров пять. В детстве он боялся, что рано или поздно пес в нее пролезет. Для тарелки в самый раз. Ее ведь надобно еще втянуть назад; уж он-то не оставит следов.

Он выпрямился. Овчарка уже не скалила зубы и даже не рычала. На него смотрели налитые кровью глаза. В последний раз. После *всех* этих лет — в последний раз. Собака, навострив уши, наклонила голову. И принялась есть.

А он развернулся, запустил руки в карманы и побрел к дому. Сирены еще гудели, то усиливаясь, то снова стихая; прислушавшись, можно было различить полицию и «скорую». В ближайшие дни наверняка придется поволноваться. Не исключено, что до него доберутся. В худшем случае он будет отнекиваться, будет все отрицать, и они ничего не докажут. Для отпечатков пальцев кирпич слишком шершавый. И вдруг он почувствовал свое превосходство над ними. Кошка прыгнула и попыталась схватить бабочку, но та вспорхнула и стала подниматься выше и выше, вспыхнула и исчезла на солнце.

Дверь была настежь, он вошел и остановился. Еще ощущалось тепло с улицы, и глазам потребовалось несколько секунд, чтобы настроиться на комнату: три тени, охваченные темным, поворачивались к нему, в полной тишине… Потом все прояснилось — всего-навсего родители и сестра. Они сидели за столом. Он посмотрел на сестру, улыбнулся и заметил, что она избегала его взгляда.

— Садись! — сказал кто-то, скорее всего мать.

— Да! — ответил он, еще мгновение продолжая стоять. Странный звук, похожий на плач, донесся с улицы: высоко и не совсем по-человечески.

— Чудно, — сказала мать, — это, должно быть, собака. Садись же!

И он действительно сел. Он будет выполнять то, что велят, пока, и останется здесь, теперь это не имело значения. Он сильнее их. Сильнее большинства людей, с которыми еще доведется встретиться. Он откинулся назад и сделал глубокий вдох, выдохнул и почувствовал вокруг себя ледяное сияние, власть и даже больше — священную власть. Они и не догадывались, ну а он-то знал наверняка: в жизни заключалось нечто Великое. Он по-прежнему улыбался, теперь это давалось легко.

— Чудесная погода, — сказала мать и что-то положила на тарелку. — В каникулы лучше не бывает! И утро выдалось великолепное, правда?

Он посмотрел на нее в упор, но она вдруг отвела глаза. Он взял нож и вилку; почувствовал, как холоден металл, как тверд и приятен. На секунду задумался, а потом сказал:

— Да, конечно. Ничего себе.

Под солнцем

Паровоз пронзительно засвистел, и Крамер проснулся. За окном мелькали темные столбы устремленных к небу тополей, вдали виднелись пальмы, а за ними поблескивала полоска моря. Крамер сидел спиной по ходу поезда: деревья, попадая в его поле зрения, с бешеной скоростью проносились мимо, после чего движение их замедлялось и они постепенно растворялись в ярком свете. На темно-синем небе ни облачка, огромное солнце карабкалось к зениту; мягкими волнами поднимались луга на горизонте; виноградники надежно скрывались за дымкой испарений.

Теперь вагон был почти пуст. Перед тем как заснуть, Крамер все сетовал про себя на то, что ему не досталось места в тени. Но сейчас совсем другое дело: он поднялся и пересел напротив. Кроме него купе занимал старик — прислонившись головой к стеклу, он со свистом храпел. Еще — полная женщина, виднелись только ее затылок, волосы и мясистая рука, покоившаяся на ручке кресла, а наискосок от нее — белокурая девочка лет одиннадцати-двенадцати в летнем

платьице без рукавов.

Крамер снова посмотрел в окно. Проезжали деревню: красные крыши, каменные дома, люди на проселочной дороге, старый грузовик перед шлагбаумом. Слегка покосившийся замок, снова тополя и пинии. Вот он, мир Бонвара.

Наконец-то. Свет Бонвара, деревья Бонвара, море Бонвара. Все это Крамер уже давным-давно знал, но только сейчас впервые видел своими глазами. Необыкновенные и волнующие чувства переполняли его, словно сам Бонвар создал мир за окном, и в определенном смысле так оно и было, ведь откуда бы взяться этому великолепию, как не от соприкосновения с его поэтическим гением! Закрываясь от ослепительного солнца, Крамер вытянул руку, но тут же снова опустил, чуть не вскрикнув от боли. Толстуха закрутила головой, девочка укоризненно на него посмотрела. Крамер почувствовал, как заливается краской. От стыда и обиды. Прострел мучил его со вчерашнего дня, с того самого момента, когда, разбирая в гостинице чемодан, он нагнулся, чтобы достать носки… «Проклятье, разве этим страдают не только старики?» — Крамер осторожно погрузил спину в мягкое кресло.

Послышался неприятный запах пота. Он под-

нял голову, увидел форменную фуражку, под ней усы: «Billet, s'il vous plaot!»[2].Крамер стал искать кошелек, где же он?… Ага, вот. Протянул человеку в синем билет, тот впился в него глазами на одну, две, три секунды… Крамера охватило беспокойство. Неужели что-то не в порядке?

Точно, случилось самое страшное. Контролер опустил билет, покачал головой и что-то сказал по-французски, но Крамер ничего не понял. Теперь даже старик проснулся и таращился на него. Кондуктор сделал недвусмысленное движение рукой: встать! Крамер повиновался и почувствовал слабость в коленях. Кондуктор показал на цифру — нарисованную на стене красную единицу, — потом на билет. Крамер понял и покраснел больше прежнего. Достал портфель из багажной сетки и направился во второй класс. Дверь вагона закрылась за ним, но он все же услышал, как кондуктор что-то сказал и как засмеялась девочка. В следующем вагоне толпились люди и стояла нестерпимая духота — кондиционер не работал. Крамер, скрючившись, пробрался к свободному месту и осторожно опустился на скамейку. Рядом обливался потом мужчина в майке, напротив, не

---

[2] Примечания: 2
Ваш билет, пожалуйста *(фр.)*.

обращая внимания на запретительный значок на стекле, курила пожилая женщина. Скамейка была жесткая, солнце нещадно палило. Крамер закрыл глаза.

По шуршанию бумаги и резкому запаху колбасы он понял: сосед разворачивал обед. От колбасы и сигаретного дыма, от покачивания поезда, жары и чавканья его подташнивало. Крамер снова открыл глаза, стало немного легче. В надежде, что поможет чтение, вытащил из портфеля книгу.

«Бонвар. Жизнь и творчество», автор — Ханс Баринг. На титульном листе — знаменитый портрет писателя, сделанный в 1960 году: белый пиджак, коротко подстриженная бородка и развевающиеся на ветру волосы. На заднем плане в дымке — группа деревьев и что-то синее, похожее на реку. Фотограф или кто-то рядом с ним, видимо, привлек внимание Бонвара: в глазах играли веселые искорки и угадывался неподдельный интерес. На обороте, над самой рекламой, — маленький снимок Баринга: очки и надменная улыбка. Крамер раскрыл книгу; страницы были загнуты, смяты и испещрены тонкими карандашными линиями, восклицательными и вопросительными знаками, разного рода подчеркиваниями.

Глава первая. Детство. 1908 год. В семье крупного промышленника, к тому же из гугенотов, рождается сын, Анри Бонвар. Окружающая среда соответствующая. Все как в романах с пыльных книжных полок: гувернантки, модные курорты, застывшие на фото позы — в матросском костюмчике и с плеткой, позже — домашний учитель.

Глава вторая. Отрочество. Лесные прогулки в одиночестве, дружба с деревенскими детьми и с большой собакой. Новые, более дорогие учителя; обучение на четырех языках. Смерть матери, первая трещина в безоблачной жизни и первые сомнения относительно незыблемости радужного мира. Затем пансион: длинные коридоры, темные углы, учителя в накрахмаленных воротничках, их морщинистые губы. Преследования одноклассников и насмешки у него за спиной. Кому-то так достается от Бонвара, что тот попадает в больницу. С этого момента Анри начинают уважать. Каникулы: он взрослеет, к нему обращаются на «вы». Отец женится вторично и стесняется сына. Умирает собака. Бонвар начинает дневник.

Глава третья. Юность (ох уж эти претенциозные переклички с Толстым!). Мировая война в четыре раза умножает семейный капитал. Война закан-

чивается, а еще через восемь лет заканчивается учеба в школе. Увлечение горничной и решение отца положить конец истории — бедняжку отправляют далеко-далеко. Фотография: на бледном лице Анри выражение легкого недоумения. Он уже не в матроске, а в сшитом на заказ костюме. Годы учения в Париже: семестр на юридическом, потом шесть семестров на философском и еще три на математическом. Бонвару двадцать три, он объявляет о своей помолвке, два месяца спустя помолвка расторгается. Выходит в свет томик рассказов, но остается незамеченным. Потом умирает отец. После продажи фирмы к сыну приходят богатство и независимость. Неожиданно он уезжает из Парижа и поселяется в шведской деревушке. Проводит там почти год, оборвав все связи с миром. В морозную новогоднюю ночь 1932 года, в полном одиночестве и кромешной темноте пытается покончить с собой. Полчаса держит пистолет у виска, наконец нажимает курок, раздается жалкий щелчок — осечка. В эту ночь Бонвар сжигает свои дневники и начинает писать. Конец 1933-го, он возвращается в Париж, в его чемодане — первая часть рукописи «Под солнцем».

Глава четвертая. «Excusez-moi!»[3] Что такое? Крамер поднял голову, перед ним стоял сосед и хотел пройти. Стиснув зубы, Крамер стал медленно поворачиваться боком, чтобы освободить проход. Вдруг поезд резко затормозил, мужчина потерял равновесие и ударил его локтем по голове. «Pardon».[4] Переваливаясь с боку на бок, добрался до двери и вышел. На перроне в последний раз мелькнула его майка, потом он скрылся. Крамер, стараясь держать голову прямо, уставился на промасленную от колбасы бумагу, валявшуюся у него в ногах. Толчок, поезд тронулся, и бумагу отбросило под сиденье.

Глава четвертая. Трехлетнее путешествие по Африке. Москиты, мухи цеце, зеленые в крапинку змеи. Безумие и смерть, подстерегающие на каждом шагу, духота и влажность. Зловонная падаль по краям дороги, разлагающиеся трупы людей на полях, многоголосие джунглей по ночам. Темные волосатые пауки на коричневых стволах; великая искрящаяся преисподняя. Бонвар возвращается в Европу, первая часть «Под солнцем» завершена.

Его по-прежнему не балуют вниманием. Похва-

---

[3] Примечания: 3
Извините! *(фр.).*

[4] Примечания: 4
Простите *(фр.).*

лы Томаса Манна, негативные отзывы Дёблина, письмо Джойса, высоко оценившего книгу. Знаменитый ответ Бонвара, одно из его весьма редких высказываний о собственном творчестве: «I do not think, Sir, that we can create life out of words; we can only try to reshape its senseless and cruel beauty»[5]. Он женится на секретарше, переезжает в Лозанну и приступает ко второй части. Фотографии: Бонвар за огромным письменным столом, Бонвар в тропическом шлеме. И тут началась война.

Работа над главным произведением приостанавливается, выходят романы «Кафедральные соборы Рима» и «Упадок». В 1943-м едет в Париж, чтобы, по его собственным словам, осмотреться. За этот поступок его будут попрекать даже много лет спустя. На первых цветных фото: атлетически сложенный, элегантный и жизнерадостный человек. В 1945 году Бонвар переезжает в Нью-Йорк, брак распадается. 1950-й: появляется вторая часть «Под солнцем».

В год рождения Крамера к Бонвару неожиданно приходит мировая слава. Но ни Крамер, сын

---

[5] Примечания: 5

Не думаю, сэр, что за пределами слова возможна полноценная жизнь; мы можем лишь попытаться придать ее бессмысленной и безжалостной красоте новую форму *(англ.)*.

банковского служащего, ни его родители, ни все те, кто составлял крамеровское окружение в уцелевшем от бомбежек немецком городе, об этом не знали. Никто здесь не заметил и первых интервью Бонвара, оказавшихся вместе с тем последними; в них он жестоко высмеивал беспомощных журналистов. И, конечно же, сообщений прессы о втором браке, вскоре распавшемся, о его поездке на год в Китай и о крупном скандале, который разразился после его отказа от Нобелевской премии. («Я не нуждаюсь ни в творческой, ни в финансовой поддержке тех, кто чествует посредственность».) Крамер впервые прочитал о Бонваре десятилетним школьником; он до сих пор помнил ту газетную заметку, где говорилось о переезде писателя на побережье в Ури. Там же была плохого качества черно-белая фотография просторной виллы, окруженной смазанными пальмами, и каменной террасы, далеко выступающей в темно-серое море.

Поезд затормозил, и в вагон неожиданно ворвалась тень вокзала. Мимо медленно и величаво проплыли закусочная, киоск и синяя вывеска с белой надписью: «Oury-sur-Mer». Крамер захлопнул книгу и положил в портфель. Хватился фотоаппарата. Все в порядке — тот лежал на

месте. Он взялся за спинку сиденья, и началась настоящая пытка — вставание.

Было жарко уже в поезде, но на улице оказалось и того хуже. Некоторое время Крамер, чтобы немного привыкнуть, просто стоял. Тихо стоял перед стендом. Знаменитое место, знаменитое по одной-единственной причине. Пожилой носильщик толкал тележку. А вдруг он?... Разумеется, большинство местных знали Бонвара, по меньшей мере видели его. Вот бы спросить! Но Крамер не говорил по-французски. Носильщик скрылся, унеся с собой все сведения.

Крамеру исполнилось пятнадцать, когда он в первый раз прочитал «Под солнцем». Впечатление от книги было ошеломляющим и таким осталось до сих пор. Мир вокруг сразу преобразился. Луга, деревья и небо, а еще машины, улицы и грубые бетонные постройки вдоль обочины — все засветилось новыми красками. Людей, даже самых скучных и бледных, вдруг окутала дымка таинственности. А в избитых словах неожиданно заиграли свет и музыка. В восемнадцать лет Крамер прочитал всего Бонвара. Через год началась учеба в университете, и как раз тогда вышла третья, последняя часть «Под солнцем».

Ее воздействие было грандиозным. Здесь

мастерство писателя достигло высшего совершенства. Фразы, казалось, выбивали из языка доселе невиданные молнии и искры света. Для Крамера эти две недели стали настоящим блаженством: дойдя до конца книги, он начинал сначала. Однажды телевизионщики подкараулили Бонвара во время прогулки с актрисой, исполнявшей главную роль в экранизированном «Упадке». Вскоре после этого сыграли свадьбу.

Привокзальную стоянку наводнили шикарные лимузины. В центре возвышался щит с планом города и красной стрелкой: «Vous êtes ici».[6] Наискосок от стрелки — квадрат, покрытый маленькими крестиками. Крамер посмотрел вокруг и попытался сориентироваться по внутреннему компасу (если у него, да и вообще у кого-нибудь, таковой имелся) на тот, что был указан на карте. «Море там, здесь вокзал, значит, мне… все верно, туда».

Через перекресток (теперь внимательно, по этой стороне), мимо двух новостроек, между каменных стен, и вот он — берег. Сверкающая голубая поверхность, где-то вдали переходящая в небо. Запах водорослей. Крики чаек, людские

---

[6] Примечания: 6
Вы находитесь здесь *(фр.)*.

голоса и хлюпанье моря. Гигантский отель в стиле *Belle-Epoque* и желтые жалюзи вдоль фасада, за отелем особняки, балконы, террасы и мраморные колонны. По асфальту неуклюже, мотая головами, расхаживали птицы, на воде красовались два лебедя. Крамер застыл на месте и на мгновение ощутил легкость бытия, какая случается только во сне. Именно эта самая набережная описывалась в знаменитом пассаже из книги «Под солнцем». Крамер знал его наизусть. В восторженном порыве он шагнул вперед и почувствовал, что наступил на что-то мягкое. Собачья какашка, черная и мерзкая, прилипла к ботинку, и в ту же секунду Крамер вышел на самое пекло, под палящее солнце, на слишком многолюдную дорожку, ведущую к морю. И, как назло, ни одного бордюра, чтобы соскоблить вонючую гадость.

Первое письмо Бонвару он написал в восемнадцать лет. Желая выразить признательность и благодарность человеку, которому столь многим обязан. Так Крамер объяснял свой порыв. На самом же деле тут скрывалось кое-что еще: он жил в убогом городе, и такой же убогой была его семья и все люди, которых он знал. Они ходили на работу, возвращались домой, говорили об автомобилях, политике и еде. Его школьные приятели

разбирали мотоциклы, курили, сначала тайком, потом открыто, и интересовались футболом. Выбирай любое занятие, мало ли возможностей — но Крамеру хотелось чего-то совсем иного.

Правда, на этом все не кончалось. Где-то существовал мир, преисполненный богатства и красоты, в котором жил и создавал свои творения Бонвар. Между этим миром и тем, что окружал Крамера, не было ничего общего; никакой связующей нити. Или?… Письмо могло бы на короткое время установить эту связь. Крамер таял от восторга, воображая, как Бонвар держит в руках послание и как его, Крамера, слова перетекают в мысли автора «Под солнцем». Но ответ не приходил. Тем не менее Крамер постоянно думал о нем и даже по прошествии многих месяцев все еще ждал. Ответное письмо так и не пришло. Уже потом, из Баринговой биографии, выяснилось, что у Бонвара работал секретарь, он-то и просматривал приходящую почту, откладывая все второстепенное. Разумеется, письмо, над которым Крамер корпел в течение месяца почти каждую ночь, отнесли в разряд второстепенных. Бонвар его даже не видел.

Сейчас сворачивать или подальше? Мощеная дорога между стенами домов круто поднималась

в гору. Крамер попробовал припомнить схему, но та мутным искаженным пятном расплывалась перед глазами. Лучше всего — спросить. Крамер собрался с духом и кинулся прохожему наперерез:

— Excusez-moi![7]

Это был пожилой господин в белой шляпе и с тростью. Он вскинул брови и посмотрел на Крамера.

— Je… Je cherche le cimetière…[8]

— Le cimetière![9] — Человек, не скрывая удивления, рассмеялся, потом увидел портфель Крамера и что-то сказал — по всей вероятности, что-то смешное. Крамер вежливо улыбнулся.

Подняв трость, мужчина принялся описывать в воздухе кривую, которая, как ему казалось, указывала путь, но на самом деле плела сложную паутину во все стороны: «налево», «направо» и «прямо». Через несколько фраз Крамер сдался и только молча кивал в ожидании, когда же мужчина закончит.

---

[7] Примечания: 7
Простите! *(фр.).*

[8] Примечания: 8
Я… я ищу кладбище… *(фр.).*

[9] Примечания: 9
Кладбище! *(фр.).*

— Avez-vous compris?[10]

— Oui, oui, merci beaucoup![11] Почему именно во французском у него всегда были большие пробелы? И почему он так и не удосужился их устранить?

— Bien. Bonne journée, Monsieur![12]

Довольный собой, мужчина бодро зашагал восвояси. Крамер грустно смотрел ему вслед, потом решил свернуть направо. Дорога круто шла в гору, и каждый шаг болью отзывался в спине. Но теперь он по крайней мере находился в тени. Через четыре года Крамер написал второе письмо, на этот раз тон его был натянуто-деловой и сдержанный. Правда, снова пришлось просидеть три недели, дважды он вскрывал уже запечатанный конверт, чтобы что-то поправить. Речь шла о дипломной работе: *«Символизм и интертекстуалъностъ в творчестве Анри Бонвара».* Ведь мог же он, в конце концов, обратиться к самому Анри Бонвару за разъяснением некоторых вопросов…

Затея казалась нелепой. Всем было извест-

---

[10] Примечания: 10
Вы поняли? *(фр.).*

[11] Примечания: 11
Да-да, большое спасибо! *(фр.).*

[12] Примечания: 12
Удачи вам, месье! *(фр.).*

но, что думал Бонвар относительно таких, как Крамер, и всей подобной братии. Он еще давал письменные ответы журналистам, но на вопросы литературоведов не отвечал никогда. А однажды использовал имя Ильзы Тронкхенфус, всеми уважаемого ученого, посвятившей ему объемистые исследования. В свою единственную пьесу «Седьмой путь» он ввел второстепенную героиню под следующей ремаркой: «Тронкхенфус, паразитствующая профессорша». Но обиднее всего стала авторская характеристика: «Небольшого роста, носит слишком широкий вязаный свитер, шепелявит». Так оно и было на самом деле, хотя Бонвар, что достоверно известно, в глаза не видел госпожу Тронкхенфус. Разразился маленький скандал, профессорша собиралась обратиться в суд, но в конце концов передумала.

Крамер тем не менее продолжал надеяться на чудо.

Но чуда не произошло. В университете писали все кому не лень — степенные старики и злорадствующие юнцы в корявых выражениях и с неподдельной серьезностью предъявляли *литературе* немыслимые требования, ждали от нее нового слова, которое в их устах было пресным на вкус, как песочный кекс или хрустящие хлебцы.

Вокруг сгущалась гнетущая атмосфера; Крамер поймал себя на том, что сам в том же духе начал высказываться о *литературе* и разглагольствовать об интертекстуальности и полемических отношениях. Одного слова Бонвара — одного знака с другой, светлой стороны оказалось бы достаточно, чтобы развеять туман. Но знака не последовало. Закончилась учеба, и Крамеру предложили место ассистента. На ставку все-таки можно было жить, а что еще оставалось? И он согласился.

Почувствовав, что задыхается, Крамер остановился. Подъем давался намного труднее, чем он предполагал. Когда пульс успокоился, он побрел дальше. Наконец забрался наверх, откуда открывался грандиозный вид на крыши и море за ними. Где-то внизу находилась вилла Бонвара. Но ее было не видно — для защиты от любопытных еще несколько лет назад вокруг возвели стену с колючей проволокой. Искать не имело смысла. Куда же теперь? Прямо?… Да, скорее всего. Чем дальше он удалялся от моря, тем нестерпимее становилась жара. По лицу Крамера бежали маленькие капли пота; рубашка насквозь промокла, брюки прилипали к ногам. Он достал платок и вытер лицо. Ладно, прямо так прямо.

Он посмотрел на часы. Прошло почти двадцать минут, а он все брел по той же улице, и ничего не менялось. Те же роскошные дома, те же темно-зеленые заостренные кверху деревья и то же солнце. Ни одной машины, ни одного встречного. Кругом звенящая тишина и покой.

Наконец-то! Человек! Сгорбленная фигура посреди улицы спокойно, словно маятник, размахивала метлой. Когда Крамер подошел ближе, человек прервал свое занятие и безучастно на него посмотрел.

— Je cherche le cimetière.[13]

— Le cimetière? Mais il est la![14] — Тощая загорелая рука с траурными ногтями поднялась и показала туда, откуда он пришел.

— La? Mais c'est impossible, quelqu'un… Do you speak English? A man told me that it must be this direction![15]

— Cette direction.[16] — Рука указывала все в том

---

[13] Примечания: 13
Я ищу кладбище *(фр.).*

[14] Примечания: 14
Кладбище? Но оно там! *(фр.).*

[15] Примечания: 15
Там? Но этого не может быть, мне ска… *(фр.).* Вы говорите по-английски? Мне сказали, что нужно в эту сторону! *(англ.).*

[16] Примечания: 16
В ту сторону *(фр.).*

же направлении.

Крамер хотел возразить, но понял, что это бесполезно. В конце концов, дворнику же лучше знать. Значит, в другую сторону. Назад.

Свою дипломную работу он тоже послал Бонвару, даже не надеясь, что ее прочтут. В то время именем Бонвара пестрели все газетные заголовки. Из-за истории с женой-актрисой, которую он вытолкнул из окна третьего этажа. К счастью, прямо под окном находился бассейн, и женщина осталась цела и невредима, но сразу же подала на развод. Бонвар предоставил вести дело своему адвокату, а сам скрылся в неизвестном направлении. Этим во многом и объяснялся небывалый успех «Седьмого пути», впрочем, уже через несколько месяцев пьеса исчезла из репертуара театров. Когда через год Бонвар вернулся из Маньчжурии, его сопровождала молодая китаянка, ставшая его четвертой супругой. Появился новый роман — «Гиперболы».

И вызвал недоумение. Это было запутанное и слишком надуманное произведение, напичканное загадками, намеками и странными математическими вычислениями. Книга расходилась плохо; злые критики видели в этом доказательство того, что Бонвар исписался, настроенные

благожелательно говорили о сложности поздних творений мастера. Крамер взялся за диссертацию — решил досконально исследовать Бонвара. Вскоре ему пришлось сопровождать шефа, профессора Эбельвега, на симпозиум в Лондон. Раскрыв «Таймс», он натолкнулся на заметку, из коей следовало, что писатель тоже находился в городе. После обеда Крамер отправился прогуляться, он бродил по улицам, смотрел на красные двухэтажные автобусы, на полицейских в шлемах и неожиданно вышел к дому с полукруглой надписью над входом: «The Ritz». Здесь жил Бонвар! Крамер до вечера просидел в кафе на противоположной стороне улицы в ожидании, когда тот появится на пути в отель или из него. Солнце постепенно окрашивало фасад здания в красный цвет. В конце концов Крамер ушел, его ждала работа. Бонвар так и не появился.

Позже он отдал диссертацию в университетскую типографию. Получилась книга с тонким, детальным и точным анализом. Вскоре после этого увидела свет солидная, переведенная на все языки мира биография Бонвара, написанная Хансом Барингом. Еще в магазине, стоя между двумя красочными стопками бестселлеров, Крамер раскрыл приложение и заглянул в библиографию.

Семь страниц мелко напечатанного текста. Но его книги — или все же?... Нет, он не пропустил — его книги там не было. В этот день он отменил семинар и набросал Баринг Угрожающее письмо, которое так никогда и не отправил.

Ханс Баринг считался в определенном смысле коллегой Крамера. Хотя учился на кого-то другого, потом работал в газете и написал книжку про Гёте, совершенно ненаучную, но встреченную с энтузиазмом. Однажды Крамер видел его на конгрессе, где Баринг выступал с докладом о Бонваре. С главным докладом. Ведь что ни говори, а он слыл лучшим его знатоком во всем мире.

Никто толком не знал, как же Барингу удалось этого добиться, ходили только слухи. По одной из догадок, он отправился вслед за Бонваром в швейцарские горы. Некоторое время как тень ходил за ним по пятам, а потом подкупил рабочего, присматривавшего за канатной дорогой, по которой Бонвар каждый день поднимался на ледник. Однажды утром они оказались вместе в кабинке фуникулера, вскоре рабочий остановил подъемник. Целых полчаса Баринг, запертый вместе с Бонваром, провисел в воздухе на морозе. Ему стало плохо, и, едва поднявшись наверх, он поехал обратно, к врачу. В тот же вечер Бонвар

позвонил ему и пригласил на ужин. Не прошло и недели, а Баринг уже считался его официальным биографом.

С позволения Бонвара он несколько месяцев прожил на его вилле, просматривая документы, письма и неопубликованные заметки. Но ценнее всего были, конечно же, беседы, записанные и позднее опубликованные. Когда биография уже вышла, он сопровождал чету Бонваров во время их путешествия по Египту и Северной Африке. Неприятный человек: коренастый брюнет, с усами и дурной привычкой постоянно поправлять очки. Чем же он покорил Бонвара? На конгрессе Крамер внимательно слушал Баринга, тот с надменным видом шаг за шагом продвигался по конспекту, читая почти шепотом. Доклад был посредственный, Баринг — несимпатичный.

Шли годы, однообразные и пустые, как ноябрьские дни. Библиотека, семинары, дискуссии о проблемах стиховедения, полные ошибок контрольные работы, которые надлежало править и править. Изредка стаканчик вина с коллегами. С одной из них, специалисткой по Адальберту Штифтеру, старше Крамера на пять лет, он даже жил некоторое время. Потом она предпочла ему социолога, и Крамер снова стал холостяком. Про-

фессора уходили на пенсию, их сменяли новые, а в курсе лекций все оставалось по-прежнему. Тем временем ему стукнуло сорок.

А Бонвару восемьдесят. Его показали по телевизору, засняв издалека, тайком. Бонвар медленно прогуливается вдоль берега в Ури: прямая осанка, одна рука заложена за спину, в другой — толстая коричневая трость. Выходит его последняя книга, сборник коротких зарисовок — простое и незамысловатое описание повседневных вещей.

Бонвар беседует с личным врачом, тот во всех подробностях описывает ему развитие болезни, которая после обычных обострений быстро и необратимо переходит в тяжелейшую стадию, сопровождаемую адскими болями и приступами тошноты. Вскоре после этого разговора Бонвар отправляет жену на какой-то далекий курорт. Теперь он уже умеет обращаться с оружием, и на этот раз осечки быть не могло. Вечером следующего дня он, отпустив прислугу, на террасе под высоким черным небом стреляет себе в голову. Следуют длинные и благоговейные некрологи.

Крамер тоже написал один для журнала гуманитарного факультета. Он упомянул о заслугах Бонвара, о том, какая это была незаурядная и сложная личность. В конце обмолвился о реше-

нии вдовы, вполне объяснимом, но все же не вызывающем одобрения, — не делать достоянием общественности прощальное письмо мужа. Большая часть статьи состояла из кусков, вырванных из докторской диссертации, над которой он в то время работал.

Крамер довел ее до конца и сделался доцентом. Через неделю ожидалась ее публикация небольшим тиражом в одном маленьком, но серьезном журнале. Этот объемный труд охватывал все творчество писателя. Крамер заново перечитал Бонвара, прочувствовал старую магию, неизменную красоту и мощь. Снова ощутил колоссальную силу человека, повлиявшего на всю его жизнь.

А потом возник вопрос о названии. Была ли это его идея или редактора? Теперь уже без разницы — оно понравилось им обоим: «Могила Бонвара». Звучало как дань памяти и вместе с тем как намек на то, что Бонвар и его творения принадлежали прошлому. Конечно, неплохо бы приправить название какой-нибудь полемической колкостью, но и такое подходило вполне. Потом выяснилось нечто совсем уж странное: нигде, ни в одной книге, ни в одном архиве не удалось раздобыть фотографию надгробия Бонвара. Крамер с редактором уже оставили свою

затею, но на помощь пришел случай. Профессора Эбельвега пригласили на конгресс в Париж, и он взял с собой Крамера. Всего каких-нибудь пара часов от Ури, почему бы не съездить и не сфотографировать самому?

Одна только мысль о том, что он окажется у могилы Бонвара, приводила Крамера в сильное волнение. В конце концов он согласился. Бонвар, сам Бонвар лежал там, и уж на этот раз ему не удастся держаться на расстоянии. О да, в определенном смысле это означало победу. Он поедет в Ури и сделает фотографии, никто не сможет ему помешать. Там, где Бонвар поставил точку в своей жизни. Да. Черт возьми, да.

Вдруг блеснул металлический шпиль колокольни. Несмотря на коварную боль в спине, постепенно подбиравшуюся к шее и к вискам, Крамер ускорил шаг. Пот бежал по лицу, веки слипались, и приходилось снова и снова вытирать глаза и лоб. Несколько раз Крамер присаживался для отдыха: два раза на скамейку, а однажды прямо на асфальт. Скоро жажда станет невыносимой. Неужели здесь негде попить? Его окружали только виллы, деревья, чистота и недоступная прохлада неба. Один лишь раз навстречу попались люди: мужчина и женщина — оба молоды,

прекрасно одеты, жара им нипочем. Из садов за изгородью доносились голоса и плеск воды. И никакой тени вокруг. Но теперь-то он уже добрался до цели. При церкви обязательно есть кладбище.

И оно действительно там было. Высокий железный забор с наконечниками копий наверху. За ним — выстроенные, словно к молчаливому параду, могильные камни и кресты. Надо надеяться, ворота не заперты… Да, они легко поддались, даже не скрипнув.

На скамейке неподвижно сидела пожилая дама, рядом стоял мужчина с граблями и, что-то насвистывая, рыхлил землю на свежей могиле. На мгновение мелодия показалась Крамеру знакомой, но память подвела — и мотив снова зазвучал отстраненно. Только этот свист нарушал тишину. Крамер двигался между рядами надгробий, гравий скрипел под ногами, ящерица, гревшаяся на теплом камне, в испуге ушмыгнула. Вдали блестело море.

Где-то здесь должна быть могила. Картонный указатель с датами захоронений: 1985–1990. Теперь главное — не торопиться. Смотреть внимательно! Надгробия из сверкающего мрамора и матового гранита, кресты из дерева и белого камня, более старые покрыты мхом и серым ли-

шайником. И надписи. Имена, имена, когда-то кому-то принадлежавшие и наполненные жизнью; а теперь только звуки, случайные сочетания букв, неразборчивые и бессмысленные. Может, здесь? Нет. Тогда, наверное… Тоже ничего. Или там?… Ряды могил впереди него редели, и вот уже осталось только четыре надгробия, три, два… Тогда наверняка последнее… Он с трудом разобрал имя.

Нет, не «Бонвар».

Как же так? Он точно ничего не пропустил.

Крамер вздохнул. Мужчина с граблями стоял теперь всего лишь в нескольких метрах от него.

— Excusez-moi![17]

Мужчина обернулся. Его костлявое лицо было наполовину скрыто козырьком кепки.

— Exucusez-moi! Je… Je cherce… Ou est Henri Bonvard?[18]

Глаза мужчины округлились, он в недоумении смотрел на Крамера, прошла секунда, и вдруг он прищурился, улыбка пробежала по его лицу, он резко выпрямился и снял кепку.

---

[17] Примечания: 17
Простите! *(фр.).*

[18] Примечания: 18
Простите! Я… Я ищу… Где мне найти Анри Бонвара? *(фр.).*

— L'ecrivian?[19]

Крамер в изумлении кивнул.

— Mais oui, Monsieur Bonvard, je l'ai très bien connu, il était un homme très gentil et poli, et il causait souvent avec moi… Mais il n'est pai ici. Vous le trouvez a Ville Bleue.[20]

Виль-Блё?… Ах да, это предместье Ури, всего лишь несколько домов, поезд там даже не остановился.

— C'est un beau cimetiere, et le tombeau de Monsieur Bonvard, c'est tres grand et cher, un pierre avec une petite statue d'or…[21]

Служитель с жаром тараторил, он был рад поделиться сведениями. Крамер почти ничего не понимал, но суть уловил: Бонвар был в Виль-Блё. Не здесь.

Он пробормотал «спасибо», повернулся и пошел прочь. За его спиной служитель все еще продолжал говорить; голос сопровождал Крамера

---

[19] Примечания: 19

Писателя? *(фр.).*

[20] Примечания: 20

Да, конечно, месье Бонвар. Я очень хорошо знал его, это был на редкость очаровательный и порядочный человек, мы часто болтали друг с другом… Но здесь его нет. Он в Виль-Блё *(фр).*

[21] Примечания: 21

Чудесное кладбище, у месье Бонвара большая и роскошная могила, с маленькой золотой статуей на надгробии *(фр.).*

до самых ворот. Значит, даже служитель знал Бонвара, *на редкость очаровательного и порядочного человека.* Крамер зевнул, он чувствовал сильную слабость. Тем временем день перевалил за половину, а ведь еще предстояло проделать пятичасовой обратный путь, сегодня вечером доклад Эбельвега, опаздывать нельзя ни в коем случае. Завтра до обеда будет открытая дискуссия, а вечером они уезжают домой. Могилу Бонвара нужно найти сегодня, и как можно быстрее.

Дорога назад казалась бесконечной. С каждой минутой жара становилась все нестерпимее, к прострелу добавилась пульсирующая головная боль. Солнце светило невыносимо ярко, а темные очки он забыл. Один раз земля покачнулась, Крамер прислонился к забору, закрыл глаза и подождал, пока все пройдет. Попробовал глубоко дышать, но воздух напоминал раскаленную вязкую массу. Через некоторое время он почувствовал себя лучше. На землю перед ним опустилась чайка, растерянно подняла головку, потом увидела море, обрадовалась и улетела.

Неужели! Магазин, а перед ним реклама кока-колы. Крамер купил банку, неумело подергал колечко, в конце концов справился и стал пить. На мгновение он ощутил совершенную пустоту

и блаженство.

Вот уже и вокзал. *Отправление:* пригородный поезд через пятнадцать минут, прибывает в Виль-Блё еще через десять. Крамер озабоченно взглянул на часы; да, он вполне успевал к вечеру в Париж. С перрона, если смотреть поверх пальм, открывался вид на воду. Там с визгом плескались ребятишки, за ними с безопасного расстояния наблюдала водоплавающая птица с экзотическим переливающимся оперением. На противоположной платформе женщина читала арабскую газету, где узелками завязывались черные значки.

Подошел поезд. Не успел Крамер занять место, как поезд тронулся, словно поданный специально для него. И в самом деле, купе было пусто. Свет приветливо разливался по голубой обивке кресел. Даже кондиционер работал.

Высокий худощавый проводник любезно приветствовал его. Крамер улыбнулся в ответ.

— Un billet pour Ville Bleue, aller et retour, s'il vous plait.[22]

Проводник озабоченно посмотрел на него сверху вниз и покачал головой.

— Ville Bleue? Mais ce train ne s'arrete pas a Ville

---

[22] Примечания: 22
Один билет до Виль-Блё и обратно, пожалуйста *(фр.).*

Bleue.[23]

— Pardon?[24]

— C'est le train pour Paris. Pas le train regional.[25]

Париж? До Парижа? Крамер вздрогнул, словно от сильного электрического разряда. Поезд вез его обратно. Это был не тот поезд!

И что теперь? Сойти на первой же станции и поехать в Ури? Невозможно, он не мог ждать целый час, на это уже нет времени. Вдруг ему на глаза попался аварийный тормоз, маленькая коробочка с красным рычагом, просто потянуть и… Нет, это исключено. Он посмотрел на кондуктора и понял, что никогда не отважится на подобное.

Мимо пролетела группа домов, вокзал, мелькнула надпись *Ville Bl…* и снова дома, маленькая церковь, и все. Потом опять пальмы, пинии, море.

Вдруг Крамер почувствовал, как сильно устал. Все было кончено, Бонвар победил. В который раз. Крамер стал думать о том, что проходит жизнь, о двух написанных им книжках, которые никого

---

[23] Примечания: 23
Виль-Блё? Но там нет остановки *(фр.)*.

[24] Примечания: 24
Простите? *(фр.)*.

[25] Примечания: 25
Это поезд на Париж. Это не пригородный *(фр.)*.

не интересовали, и о времени, проведенном в аудиториях. Одни жили на виллах, создавали шедевры и были всеми любимы. Теперь он знал: им, а не ему уготовано место под солнцем. Собачьи какашки на берегу, жара, боль в спине. Красота предназначалась другим. И нет иного пути.

Проводник озадаченно чесал затылок. Следовало бы потребовать билет, но он не решался. Вместо этого он тихо и тактично удалился, делая маленькие шаги, словно боялся споткнуться. Ему еще не доводилось попадать в подобную ситуацию, здесь даже инструкция была бессильна. Разве там говорится, как себя вести с плачущими пассажирами? Проводник осторожно закрыл дверь купе.

Солнце расплывалось, превращаясь в облако из колючего света; ослепленный Крамер закрыл глаза. Через некоторое время он справился с рыданиями. Где-то внизу отбивали такт колеса, а наверху разносился высокий печальный свисток локомотива. За окном во всей своей красе вспыхивал пейзаж. И серебрилось море.

Развязка

После школы он перепробовал множество профессий, но ни одна не устраивала на все сто. Некоторое время выполнял мелкую работу в одном из офисных муравейников — сортировал бумаги, наклеивал марки, ставил печати, — но кому такое понравится?

Потом поступил на службу в автомастерскую. Поначалу все шло очень даже хорошо, но со временем он понял, что та страстная любовь, которую питали к автомобилям коллеги, в нем никогда не разгорится. А потому вскорости бросил и это занятие и начал присматриваться к чему-нибудь другому.

Он был тогда человеком верующим. Наверное, по этой самой причине и не мог нигде прижиться. Он почти исправно ходил в церковь, а однажды взялся за исповедь блаженного Августина. И хотя до конца не осилил, но отзывавшиеся эхом витиеватые фразы, словно произнесенные в самом кафедральном соборе, произвели на него неизгладимое впечатление. Он даже работал в приходе во время подготовки служб, шествий и других мероприятий подобного рода, и так как

этим занимаются не столь уж многие, кое-кто из совета приходской общины обратил на него внимание. Ему предложили место.

Звучало довольно заманчиво: по работе своей этот человек устраивал конгрессы, то есть подыскивал для того, кто их собирался проводить, зал и заказывал места в гостинице, подключал микрофоны и громкоговорители, покупал карандаши и бумагу и заготавливал все то, о чем никто другой никогда бы не подумал. Устроителям конгрессов, так уж повелось, надобно иметь записи всех речей, докладов и дискуссий на пленке — на память или… да кто его знает, для чего. Вот и требовался — дабы застраховаться от срывов — человек, который сидел бы в наушниках за пультом и следил, чтобы все шло без помех; откажет микрофон — бил бы тревогу, заговорит кто-то слишком тихо — настроил бы регулятор чувствительности. Этим он теперь и занимался. Бог свидетель, работенка оказалась совсем не трудная, единственное, что входило в его обязанности, — слушать, не упуская из виду маленькие светящиеся точки, показывавшие колебания громкости и высоту тона. Ему не разрешалось отлучаться, не разрешалось читать или проявлять рассеянность каким-либо иным образом; но

он умел работать сосредоточенно: платили тоже довольно прилично. Вот так сидел он каждый день в каком-нибудь конференц-зале на самой галерке, у стены, перед записывающим пультом и слушал. Впереди торчали головы с последних рядов, почти все — с седыми и жиденькими волосами, с затылками, потертыми как края кресел под ними. Выступавшие в большинстве своем — старики, их голоса высокие и слабые, так что приходилось придавать им силу с помощью усилителя.

Разумеется, он понимал немного, чаще всего разглагольствовали о медицине или о сложных технических вопросах. Но слушал он всегда. Внимательно и с искренним интересом.

Вскоре, правда, сообразил: лучше не ломать голову над услышанным. Это ни к чему не приводит и только вызывает жуткое чувство, будто живешь бок о бок с чем-то на редкость беспочвенным и неопределенным. Он старался пропускать мимо ушей и оставаться равнодушным к тому, что произносилось перед ним изо дня в день. И это получалось.

Во всяком случае вначале. Он слушал доклады, наверное, обо всем на свете. И вскоре заметил: ни в чем нет единства. Никогда. Если один рас-

сказывал об открытии, тут же встревал другой и объявлял все ересью. А после выступал третий, утверждавший, что открытие это совсем не ересь, и потом следующий, и так далее; и так всегда, не важно, шла ли речь о лечении зубов или рекламных стратегиях. Однажды, на конференции философов, он услышал, что некто уже много лет назад заявил, будто все можно поставить под сомнение, но только не то, что ты и есть тот самый сомневающийся; и будто в этом заключается достоверное и, между прочим, единственно достоверное знание. Но потом на эту идею все ополчились, да еще в выражениях совершенно ему неведомых, и опровергли. Значит, опять что-то не то.

Камень, тысячелетия пролежавший на одном месте, омываемый водой, все равно будет камнем. Но однажды и от него останется лишь мокрое место. А есть ли конец у времени? Он слушал о безграничном пространстве, которое, оказывается, не безгранично, о магической империи чисел, о химическом соединении и распаде. Перед ним наматывались километры магнитофонной пленки, которую больше никому и никогда не суждено услышать. Так проходили годы.

Раз воскресным утром он отправился на про-

гулку в парк. Была весна, к отдаленному шуму автомобилей примешивались щебетание птиц и детские визги из песочницы. Деревья распустили белые цветки; дул слабый ветерок. Вдруг он остановился и, к немалому своему удивлению, опустился на скамейку. Он просидел долго, а поднявшись, твердо знал, что больше ни во что не верит. Он побрел домой с застывшей и кривоватой улыбкой на лице. А дома разрыдался.

Вообще-то жизнь не баловала его событиями. Он ясно сознавал, что в конце концов придется жениться. Но в какой-то момент заметил: скоро будет поздно. На людях он почти не показывался, старые приятели считали его немножко странным, а новыми обзавестись не пришлось. Раньше, когда он рисовал себе будущее, там всегда находилось место для женщины и — пусть даже в некотором тумане — детей. Но подруга жизни не появлялась. Настала пора действовать. Но как? С годами он почти разучился совершать поступки. А еще позже, к своему собственному изумлению, обнаружил следующее: мысль о том, что свою единственную и неповторимую можно так никогда и не встретить, не столь уж мучительна. Прошло еще какое-то время, и жениться стало действительно поздно.

Между тем он по-прежнему записывал доклады. Но вокруг сгущалось какое-то странное смятение, не то чтобы тягостное — но он находился в самом его центре и чувствовал, что тонет. Нет, то было не сомнение, а глубочайшее всеохватывающее неверие, вечная, всепронизывающая, ничем не ограниченная пустота. Ничего правильного, ничего завершенного, ничего лучше или хуже всего остального. Изо дня в день он слышал, как люди открыто высказывали свое мнение, а другие им возражали, и он не видел этому конца. А если двое приходили-таки к согласию, то непременно выступал вперед третий, это согласие нарушавший. При всем том он както само собой и, собственно, даже против воли постепенно накопил большие знания. Но ни во что их не ставил.

Мир вокруг, все самое простое и обыденное, вещи, которыми он всегда занимался, с которыми сталкивался, на которых сидел, которых касался и нюхал, неприметно изменились. Его квартира, кровать, стол и телевизор, длинные ряды в конференц-залах, серый асфальт тротуара, небо над головой, деревья и дома — все поблекло; краски потускнели, утратив прежнюю силу. Легкий туман, едва уловимый, накрыл мир — туман

унылого ноябрьского утра.

Человек, некогда устроивший его на работу, давным-давно умер. С тех пор делами заправлял его сын, который в сущности ничем не отличался от отца, в остальном же — никаких значительных изменений. Он делал свое дело, и постепенно стало ясно: так будет всегда. Утром он появлялся на месте, включал аппаратуру, надевал наушники и слушал. Вечером отправлялся домой. Если кто-нибудь с ним заговаривав он давал односложные ответы, иногда не отвечал вовсе.

Когда наступал выходной, он слонялся по городу, глазея на людей. А люди проплывали мимо; частенько казалось, что они вот-вот растворятся, словно невидимки, и исчезнут. Но ничего подобного не происходило или во всяком случае происходило довольно редко. Так он и к этому утратил интерес.

Он начал опаздывать. Не из-за лени, а потому что связь между текущим временем и углом стрелочек на его часах ускользала. Поначалу это сходило… («…такого старого работника, нельзя же просто так…»), но опоздания случались все чаще и чаще. А самое скверное было в том, что он даже не мог оправдаться или хотя бы придумать какую-нибудь отговорку, и вдобавок, совершая

проступок, казалось, совершенно этого не понимал. Проблема разрешилась сама собой: однажды он вообще не явился. Увольнение без предупреждения и вежливое письмо от начальника ему прислали по почте.

Он так и не прочитал его. Он больше не распечатывал писем. А сидел у окна и смотрел на небо. Там пролетали птицы; их оперение менялось со временем года. Само же небо обычно оставалось серым. Облака рисовали на нем узоры, утром — красные с зубцами и пылающие, вечером — тусклые. Зимой — снег: несметные хлопья падали медленно и бесшумно, необыкновенно белые. Иногда — совсем редко — светлые и голубые. Никаких облаков, много света и приветливые птицы. В такие дни все было хорошо.

Тогда его охватывало странное веселье. Он чувствовал: ему есть что поведать людям, окажись они рядом. Но это проходило. Тогда он вставал и отправлялся за покупками.

Да, он еще ходил за покупками. Что-то еще регулярно тянуло его в продуктовый внизу на углу. Он покупал мало и всегда одно и то же. Все деньги, вот уже несколько месяцев назад снятые в банке, теперь лежали в квартире: тонкая пачка банкнот, неуклонно уменьшавшаяся.

Его посетила женщина из отдела социального обеспечения, вызванная владелицей продуктов, которая, почуяв неладное, забила тревогу. Он впустил ее, но разговаривать не стал. После этого случая каждый день приходил человек и приносил еду. Однажды явился даже психиатр; но и тому он ничего не сказал. Выставили освидетельствование, и два вежливых господина забрали его.

Лечебница была холодная, белая и пахла хлоркой. Время от времени кто-то кричал. Ночью через оконные решетки на одеяло ложился тонкими полосками лунный свет. В комнате находились еще трое. Спокойные и неподвижные, из их глаз грустно смотрели искалеченные души. Двое все пытались друг с другом объясниться, но ничего не получалось; словно они говорили на разных языках. В обед санитар приносил таблетки. На улице росло дерево, искрясь на солнце, частенько накрапывал дождик, и самолеты чертили на небе полосы, только он об этом не знал. Он больше не подходил к окну, а смотрел в потолок. Белая поверхность, рассеченная длинной трещиной. Вечером, до того как зажигали свет, она серела. Утром желтела.

Однажды его навестил бывший начальник. Но

он остался безучастным, и было не понять, узнал ли он гостя, заметил ли вообще.

На место его преемников не нашлось; тем временем изобрели аппарат, который выполнял всю работу так же исправно. Еще несколько лет он скоротал в клинике, а потом вдруг перестал жить. Тело его казалось умиротворенным, лицо девственным, словно он никогда и не приходил в этот мир. А постель перешла к другому.

PYR

Меня оклеветали. Обо мне наговорили гадости, ужасные вещи, ложь. Люди кормятся всякими предубеждениями. Настало время сказать свое слово. Думаете, вы в курсе? Да у вас ни малейшего представления!

Разумеется, речь не идет о моей личности. Никто не знает моего имени и никогда — уж это обещаю, — никогда не узнает. Меня окутывает ваше неведение, словно волшебный плащ-невидимка. Я говорю с вами (нет: говорю вам, вы же не можете ответить, и слава богу) как представитель узкого круга избранных. И в равной мере обращаюсь к другим членам этой группы; они существуют, я знаю, хоть мне, увы, и не довелось столкнуться ни с одним из них. Мы незнакомы друг с другом, мы вынуждены жить в уединении; нет ничего, что может нас свести; даже если двоим из нас и посчастливится встретиться, им не разгадать самого главного. Но я пишу не за тем, чтобы пожаловаться, совсем напротив. Я хочу поведать о своем счастье, о своей страсти, о своем блаженстве.

Простите мне этот пафос. Такое время от време-

ни случается. «Пафос», в переводе с греческого, — «страдание». (Еще мгновение назад это казалось важным, но теперь я уже не совсем уверен. Мысль потерялась, ускользнула между пальцев. Ничего, вернется.) Сдерживаюсь, откладываю в сторону карандаш, несколько секунд выжидаю — о, как заполняются эти единицы времени пустотой, тикающей пустотой, — снова хватаю карандаш, пишу дальше.

Меня оклеветали. *Нас* оклеветали. Но я вправе говорить только о себе, ибо (кто же это сказал?..) являю собой единственное известное мне подтверждение правила, выразить словами которое невозможно. Итак, настало время признаний. И я признаюсь или, проще: скажу наконец правду, не снимая маски, сохраняя инкогнито. Более того: я не просто незнакомец, а незнакомец, скрывающийся под видом якобы вымышленного персонажа. Какой-нибудь писателишка издаст эти записки, поставив свое имя, и меня неизбежно примут за плод его воображения. Фантом, вымысел, не слишком правдоподобный. И я, пока говорю, теряюсь в собственном кажущемся несуществовании; вы слышите меня и вместе с тем не слышите никого, как будто слова есть, а оратора нет. Меня оберегает ваше неведение.

Ибо (и зарубите это себе на носу), даже если я открою все карты, это не заставит вас отказаться от предубеждений. Вы сочтете все литературным приемом. И даже после *такого* намека не усомнитесь. Да, мое существование совершенно немыслимо, не правда ли? Вот видите, вот это самое я и имею в виду. Я в безопасности.

Время признаний. Я, собственно, человек, каких большинство. Если бы жил по соседству, вы и внимания не обратили бы. Мое ремесло всеми уважаемо и приносит на удивление много денег. У меня жуткая жена и двое непоправимо глупых детей. В придачу пара машин и дорогой обременительный дом со множеством окон, узким балконом, крошечным садом, заросшим сорняками газоном и двумя четырехугольными клумбами роз. Вечером я прихожу домой, выслушиваю рассказы детей, развожу огонь в нашем мещанском камине и… Как божественно танцуют огоньки, желтые, красные и горячие, а как шуршат, напоминая шелест скомканной бумаги, как потрескивают, словно хотят поглотить весь дом, уничтожить, наконец-то уничтожить… Итак, я развожу огонь, смотрю телик, иду спать: к моей сопящей, меня поносящей, мной пренебрегающей, со мной обвенчанной жене. Спасают

пилюли, переводя из жиденькой черноты в густую. О снах скажу потом.

На следующее утро я встаю, пью кофе, пытливо осматриваю детей. На фирме меня дожидаются двое начальников и четверо подчиненных, недурное количественное соотношение. Мне нравится моя работа, никакой другой и не хотелось бы. Немного повозившись с письмами, я сажусь в казенную машину, одну из трех, и отправляюсь в дорогу. Приходится немало колесить.

Меня ждут. На моем пути выстраиваются в ожидании на порогах своих квартир целые семьи: с внуками, дедушками и бабушками. Я им нужен. В их домах спят немые рабы, которых я, и только я, могу разбудить от сна. Ну что, догадались? Правильно: я электрик.

Фирма «Бёрстенманн и К°». Специализируется по телевизорам, радио, спутниковым антеннам. Можете не заглядывать в телефонный справочник. Бёрстенманн, разумеется, имя выдуманное. Но по количеству слогов и звучанию вполне соответствует настоящему. Мы — процветающее предприятие. Я вхожу в чужие гостиные (всегда стараюсь, чтобы ботинки были погрязнее, ох, как люблю оставлять следы на коврах), забираюсь на чужие крыши, устанавливаю антенны для при-

ема спутниковых передач, которые, как жирные паразиты, питаются силой земного тяготения. Тщательно осматриваю дома, отмечаю детали. В удобный момент — а такой найдется всегда — прокрадываюсь в коридор, беру ключи от дома, висящие возле двери на одинаково пестрых связках, и нежно вдавливаю их в восковой шарик. Уже набралась завидная коллекция.

Потом производятся контрольные звонки. Снова и снова, с небольшими ровными интервалами. Нет никого дома — частота звонков повышается. Если никто не подходит ни в полночь, ни в пять утра, ни до обеда, ни после, ни даже вечером, тогда я отправляюсь по адресу и обследую почтовый ящик и мусорный бак. Если все сходится, все верные признаки отсутствия налицо (им позарез нужно уезжать на вонючие пляжи и прогнившие курорты), тогда я прихожу опять. Ночью. Вот у вас, к примеру, есть дом или квартира? Конечно же есть. Тогда вы меня знаете. Я — гость из ваших кошмаров.

Нет-нет! Не взломщик, не вор в черной маске. Нет, вы меня разочаровываете, неужели не приходит в голову ничего похуже? Я появляюсь около трех утра. Отпираю дверь, включаю свет, вхожу. С собой большая канистра керосина, немного

дешевой взрывчатки, простейший дистанционный взрыватель. Канистра опустошается: я обливаю ковры (их в первую очередь), простыни, занавески, пока не пропитаются все волокна, жирные и смачные. Обливаю телевизор, мной же установленный, обеденный стол из черного дерева, премиленький старинный шкаф с дорогим фарфором. О, тарелочки, с зелеными узорами и цветочками ручной работы! Резкий сладковатый запах горючего. Его глухое и размеренное бульканье. И книжные полки, и письменные столы. Кухни и ванные (полотенца!). У меня есть кое-какой опыт, все длится не больше четверти часа.

Потом я устанавливаю взрывчатку. Ее совсем мало, нужен лишь небольшой взрыв, покашливание, если хотите, спичка, так сказать, подброшенная в солому. Потом завожу часы взрывателя (простейший кухонный будильник — полезная вещь для варки яиц, к примеру) на пять минут. Включаю.

И начинает свой отсчет длинная минута. В течение шестидесяти секунд я просто стою. Оглядываю комнату, все эти прочные — пока еще прочные — предметы. Так близко от своей гибели, что в моих глазах они уже превращаются в воспоминание. Тикают стенные часы, но стрелкам

не добраться до следующей золотой цифры, маятник расплавится. Я делаю вдох, выдох и снова вдох, слышу запах скорого разрушения. Потом, не торопясь, поворачиваюсь. На ходу провожу рукой по комоду, обоям, влажным занавескам, стене. Все такое твердое, холодное, с виду реальное. Но больше похожее на сон: после меня этих вещей никто не коснется. Дверь захлопывается за мной на замок, еще целых три минуты.

На улицах в этот час царит мертвая тишина. Небо черное, на горизонте уже чуть серое. Ни одно окно не освещено. Только фонари горят по долгу службы. Машины спят на стоянках, вдали ревут моторы, но не здесь, не здесь. Бывает, сверкнет в небе самолет. Да, тихо. И я стою, чувствую легкий ветерок, запах зрелой ночи, прислушиваюсь к ударам пульса, к внутреннему такту покалывающего ожидания. Сжимаю губы, чтобы от волнения не рассмеяться. Пока тихо. Вот сейчас! Сейчас!

Раздается взрыв, не громкий, здесь, снаружи, его почти не слышно, просто стук, словно упала на пол кастрюля или тяжелая ваза. Потом некоторое время вообще ничего не происходит, или, правильнее будет сказать, происходит неприметно, внутри дома и одновременно в

моем разгоряченном, пылающем воображении. О, я вижу все! В темной комнате вспышка, ее зеленый отблеск пролетает над мебелью, словно желающей присвоить огонь себе: в трех, пяти, двенадцати, двадцати местах вдруг появляются тоненькие языки пламени. Сближаются, находят друг друга. Соединяются. Несколько секунд огонь еще медлит, выжидает, остается на месте… Потом — вот! — пускается в путь: ползет по коврам, по занавескам, полкам, взбирается по скатерти; в одно мгновение комната озаряется светом, наполняется плясками черных зазубренных теней. И наконец в окнах начинают дрожать первые желтые отблески пламени. Серый столб дыма, еще не очень плотный, поднимается в небо, светлая тень на фоне высокой ночи. А потом смешок, и дальше нараспев (до этого момента все было тихо) — дзынь! — вскоре вступает еще одно окно и еще. Языки пламени рвутся из окон, проносятся в воздухе, наверх, гаснут, за ними следуют новые. А на меня с головокружительной скоростью, с хрустом, со скрежетом, несется невообразимый треск. На меня.

Я же еще стою на месте. Прислушиваюсь, смотрю, чувствую. Волны бьют мне в лицо, с каждым разом становясь сильнее; волны сверкающего,

искрящегося ночного воздуха. И внутри меня растет ощущение великого, едва сдерживаемого счастья, ощущение… да: танца и благодати. Какая отрада! Но время не ждет. Когда первые огни добираются до крыши, нужно поворачиваться и уходить. Медленно. Только не бежать. Пока я иду — руки в карманах, голова опущена — воздух вокруг становится холоднее, треск тише, на небе снова показываются звезды. Часто уже слышно завывание сирен; мимо проносится первый красный автомобиль, вызванный наконец-то проснувшимся соседом. Иногда им даже удается потушить пожар, до того как все сгорит дотла. Сворачиваю за угол, еще один поворот, на туманную улицу, где ждет припаркованная машина. Когда я прихожу домой, женушка моя просыпается, но она не спрашивает, где я шатался. Глупая овца, думает, у меня есть тайная любовница. Я ложусь, закрываю глаза и несколько часов нахожусь в полном, в совершенном, в абсолютном довольстве собой.

Состояние это длится долго: недели, часто месяцы. Между тем я повсюду разъезжаю, делаю свою работу, устанавливаю антенны, провожу экспертизу дома, намечаю следующую жертву. Я проделываю это только два раза в год, не чаще. Да

чаще и нельзя: хоть полиция наша ни на что не годна, но и ей может броситься в глаза связь между поджогами и визитами фирмы Бёрстенманн. Нет, двух раз вполне достаточно, я не маньяк какой-нибудь. Болезненной зависимости у меня нет. Все делается только по моей воле и только ради удовольствия.

Итак, теперь вам все известно. Я… ну да ладно: я пироман. Тот, кто любит огонь. Вот и все, это правда, я ничего не имею против самого слова. *Пур pyr,* огонь. Родственные им по происхождению древневерхненемецкое *fuir,* также *fiur*, древнеисландское *fyrr,* хеттское (тут вы удивитесь!) *pahhur.* Индогерманское *pewor.* Обратите внимание, как каждое из этих слов будто чем-то приправлено? Властью? Риском? Слова не случайны, о нет. *Fyrr, pahhur* — чувствуете? Вы чувствуете это. Произнесите вслух, сосредоточьтесь. И постепенно вы получите представление о том, что это такое — огонь. Слабое представление. Жизни не хватит, чтобы хоть чуть-чуть проникнуть в его смысл. *Окислительный процесс с возникновением пламени; при сгорании органических веществ образуется двуокись углерода и водяной пар* — умоляю! Пустое определение из справочника, оно вообще ни о чем не говорит. *Pahhur.* Бег пламени

по спичке. Или вот такая история.

Я был еще совсем молод. Вокруг — красноватая равнина, простиравшаяся во все стороны до самого горизонта, до слишком близкой границы белого неба. Я шел. И вдруг земля мгновенно покрылась травой, кустами, деревьями. Высокие, коричневые, одетые в листву. Пахло хворостом, мхом, еловой хвоей, прелыми листьями. Возбужденно ссорились птицы. Вдруг пронеслось странное напряжение, словно порыв ветра; бегущие наутек зверьки (их не видно) ломали подлесок, журавли взметнулись в небо. И тут я почувствовал запах. И двинулся дальше, навстречу колючему теплому воздуху. Лес, раскрывшийся поляной, отпустил меня на свободу. А там, за поляной, на другой стороне, как живые трепетали красные листья, ломались ветви и, не успев коснуться земли, превращались в пепел, и плотный дым с летящими искрами поднимался к солнцу. Потом огонь отделился и по высокой траве устремился через поляну прямо на меня.

Время признаний. Ну хорошо, признаюсь: я солгал. Все было совсем не так. Еще ни разу я не имел счастья встретиться с лесным пожаром. Я осмелился рассказать вам сон, с самой юности повторяющийся вновь и вновь, отчасти докуч-

ливый, отчасти желанный нарушитель моего ночного покоя. Но если посмотреть с другой стороны, оно не так уж неверно. Ибо все действительно началось именно с этого. Со снов.

Лихорадочные, пульсирующие, пропитанные потом сны об огне. О раскаленном красно-белом великолепии. О вещах или людях, медленно растворяющихся перед моим взором, съедаемых пламенем. Я пробуждался в сумеречной комнате, весь дрожа, с колотящимся сердцем и ноющим от тоски телом. Пожалуйста, не истолкуйте это превратно. У меня было счастливое детство, никто не делал мне больно, родители любили меня, братья и сестры побаивались. Я тоже читал Фрейда, и даже с интересом; и мне известны словечки вроде психоза и парафилии. Не пытайтесь меня недооценить, я же сказал: я учился. Пусть только на вечерних курсах, зато самоотверженно. Нет, заявляю со всей твердостью: пиромания не болезнь. А то, чем ее считают, есть клевета, ложь, навязанная нам. Существовали целые культуры, и, возможно, лучшие культуры, поклонявшиеся огню. А уж если совсем честно — я не понимаю, как, находясь в здравом рассудке, можно оказывать почтение чему-нибудь другому; не понимаю, как в стародавние времена

человек считал бледную абстракцию или неотесанный предмет более достойными поклонения, более близкими божественному, чем *Pahhur. Fyrr.* Острый смертоносный бег пламени по спичке.

Я начал с робких экспериментов. Маленькая кучка соломы, зажженная в фокусе лупы для почтовых марок. Смесь алюминиевого и йодистого порошка, капля воды: и — опс! — все горит. Не нужно поджигать, это особенно прекрасно: субстанция сама порождает пламя, словно по волшебству. Магниевая проволока — белое свечение, после которого ничего не остается, совсем ничего, весь металл превращается в свет. А кошка, вечером, с подожженным хвостом: летящий, визжащий, выбивающий искры меховой клубок, зигзаг, удаляющийся в сумерках. Но от этого я отошел. Я же не изверг. И не испытываю ни малейшего желания причинять кому-нибудь боль. Два года назад, правда, недоглядел и оставил в доме старушку, девяносто четыре года, спавшую беззвучным старческим сном. И только на следующий день узнал из новостей о том, что она там была, в какой-то теперь уже обугленной комнате. Да, я умею признавать свои ошибки. И сожалеть.

Как становятся пироманом? Как приходят к огню? Нет, все было иначе: огонь сам пришел

ко мне, избрал меня. Дождался, подкараулил на границе моих снов, моих мыслей, стал явью. В пятнадцать лет я утратил невинность, в шестнадцать — поджег первую собачью конуру. Хотите узнать, что мне больше понравилось? Одно было обыкновенной конурой, другое — обыкновенной девицей с железной пластинкой на зубах, а я — неловок и неопытен. С девичьего лица не сходила серебряная улыбка, конура развалилась и погасла; половина осталась стоять: кривая, закопченная и пустая. И тем не менее я прозрел.

Я никогда, ни разу не проявил неосторожность. Ибо знал: общество меня не потерпит (ведь если бы каждый делал то, что делаю я, домов бы просто не осталось; но этим занимаются не все, этим занимаюсь я). Никогда, ни одному человеку не признавался я в своей страсти. И сейчас поверяю о ней впервые, да простится мне волнение. В восемнадцать лет я поджег первое дерево: то, что деревья разрываются при определенной температуре, явилось для меня открытием; содержащаяся в них жидкость испаряется, жар распирает дерево, расщепляет на продолговатые куски, вдоль волокон. Это надо хоть раз увидеть. В двадцать я разделался с первой машиной. Машины вообще штуки весьма занятные: технически суть

сводится к тому, чтобы изловчиться и подбросить искру в бензобак, прежде чем тебя охватит растянувшееся огненное облако. Очень редко дело заканчивалось увечьями: два или три раза ожог первой степени, и только однажды совсем смехотворный — третьей. Шрам на тыльной стороне ладони, словно маленький порез. Я, как уже говорилось, очень осторожен.

До тридцати лет предпочтение отдавалось квартирам. Сначала на первом этаже — фугас в окно, примитивный способ, плачевные результаты: пожары несовершенные, дилетантские, быстро потушенные нахальными пожарниками. Потом я забрался повыше. Теперь уже приходилось взламывать замки, что требовало отточенной техники: не просто поджигать, а устраивать пожар; его ведь можно контролировать, вести, направляя в то или иное русло. За эти годы я многому научился. И в конце концов так преуспел, что уже с улицы, держа руки в карманах и закинув голову, наблюдал, как из светлого, светящегося окна огонь полз наверх, цепляясь за деревянные балки, сначала робко, потом все увереннее, и как вдруг крыша — сперва часть, потом вся целиком — затягивалась пламенем. И тут наступал великий момент, хоть пожарный

вертолет и портил всю картину. Но я уже знал: нужно переходить к большему. К домам, к этим неуклюжим, массивным конструкциям, взывающим к разрушению.

«Для чего нам, — спросила меня однажды дочка, — все эти канистры в подвале?» Вы же знаете, какие дети любопытные, внимательные… «Действительно, — сказал я, — собственно, для чего?» А потом отвесил ей затрещину, одну, другую. На несколько секунд девочка выпучила глаза, так что мне почти стало жаль ее. Вообще-то ей редко достается. Она повернулась и убежала. Но больше вопросов не задавала. А жену я просто не подпускаю к подвалу. Однажды ей позарез туда понадобилось, и это была единственная попытка. Там у меня маленькая комнатка, мастерская, где я собираю взрыватели и прилаживаю к пластиковой взрывчатке. Ее я в малых количествах достаю у одного продажного офицера. Тут — никаких сложностей. Каждый может. Вы тоже.

Ну вот я уже слышу, как вы взываете к морали! Мыслимо ли, так бесцеремонно… чужую собственность!.. И все такое. Глупые отговорки. Тот, кто поджигает вещь, не просто ее уничтожает, он приносит ей избавление. Огонь не значит смерть, это апофеоз. Все сущее рождено из огня: ни одна

клетка не выживет, если где-то внутри нее (а именно в митохондриях, уж я-то знаю) не будет происходить непрерывное сгорание, невидимое, без пламени, но самое что ни на есть настоящее и измеримое — однако дело не в этом. Огонь есть сокровенное содержание всего живого, материал, из которого — если позволите — сделаны души. Древние китайцы приписывали человеку две души: кровную и пламенную. Первая умирает вместе с телом, разлагается, превращается в прах; другая же… ну, что вы думаете? Правильно. Это первичная материя Гераклита, всемогущий элемент алхимиков; в восемнадцатом столетии ученые спорили о том, существует ли невесомая (успеваете следить?) субстанция огня и света — флогистон. К сожалению, забытая теория, но это ничего. Ибо субстанция все равно существует, пусть даже как возможность. И проявляет себя во время надвигающейся грозы, в колючем беге пламени по спичке.

Материя — и это известно каждому школьнику — есть форма энергии. Связанной, сдерживаемой, приведенной в состояние покоя. Но жаждущей свободы. История времен представляет собой путь от упорядоченной энергии к неупорядоченной; что это означает? А это означает, что все

разрушается. Что Вселенная есть не что иное, как гигантский полыхающий взрыв. И все, что обладает формой, стремится навстречу своей гибели. Каждая вещь застонет от благодарности, если ее наконец-то предадут огню. Вот этот стол передо мной, этот изгрызенный карандаш, все растения там, за окном, лелеют заветное желание — сгореть. Хотите определение? Огонь — это химический экстаз Вселенной.

А для вашего успокоения скажу: наступит день, и уже совсем скоро, когда я подожгу вот этот, мой собственный дом. Это не жертва, напротив. Я сплю и вижу, как он горит, разработал двадцать или даже больше вариантов: где — на нижнем этаже, на обоях в цветочек, на ковровом покрытии или на диванах — должен зародиться огонь, чтобы потом вскарабкаться наверх, к самой целомудренной спальне с ее белоснежным постельным бельем и к моим безупречно выглаженным рубашкам. Или, наоборот, может, лучше начать с крыши, прямо от нашей с размахом установленной телеантенны — первоклассный образец, более ста каналов? А может, огню украдкой выскользнуть снизу, из подвала, подняться наверх? Отослать ли жену под каким-нибудь предлогом из дома; может, и впрямь ей лучше

не присутствовать при всем этом и ничего не видеть? Хотя мысль о ее огромных, круглых от удивления глазах уж очень соблазнительна. Видите, это все вопросы, которые еще предстоит решить. Не исключено, что этот пожар я преподнесу себе в подарок на пятидесятилетие; будет большое торжество, мне доведется наяву пережить, как огонь пожирает безвкусные декорации моих будней, моей тюрьмы. Кроме того, дом застрахован на кругленькую сумму. И на этом получится даже заработать.

Ну что, убедил? Передо мной встает вопрос: не желание ли убедить заставило меня обратиться к вам? Мне пока не известно, кто все это издаст, где, в каком жалком журнальчике или сборнике убогих рассказов. Я также не знаю, кого из писателей нужно подкупить, а кого достаточно просто припугнуть, чтобы он поставил свое имя под этими записками. Но как бы там ни вышло, уверен, именно я — тот, кто пытается сказать правду, несмотря на весь маскарад, притворство и псевдонимы (вы все еще не верите в мое существование, верно?). И завлечь прозелитов. Пусть даже одного-единственного, не беда, попытка стоила того. Так что же вы думаете? Не отводите глаза, я вас имею в виду! Это не литературный прием, не

обращение во множественном числе — все совершенно элементарно: *я имею в виду вас.* Неужели я еще, ну хоть совсем немножечко, так что вы даже не заметили, не совратил вас? Не смейтесь так надменно; конечно же, кое-чего добиться-таки удалось. Ибо как всякая вещь втайне мечтает быть сожженной, так и каждый человек втайне мечтает что-нибудь поджечь. Разве вы не играете со своей зажигалкой? Не следите завороженно за искрами, вылетающими из-под большого пальца, а потом — со странными, не совсем внятными мыслями — за желто-коричневым пламенем, таким маленьким и спокойным?…

Тем, что любишь, лучше не заниматься профессионально. Однажды я попробовал: пошел на курсы по пиротехнике (к слову сказать, это оказалось очень полезно; прежде всего меня научили соблюдать пожарную безопасность; ведь каждое правило можно обернуть себе на пользу). Некоторое время работал в кино. Но там ждало одно разочарование: пламя выбивалось из маленьких продырявленных труб, взрывы производились мягкие и осторожные, дозированные. Формальное и неуважительное отношение к огню. На прощание я поиграл с дистанционным взрывателем, заряд разорвался на тридцать

секунд раньше и смел молодого актера с добросовестно подготовленного поля битвы. Не называю его имени, вы все равно не знаете. Он выжил, но больше никогда не снимался в кино. Кажется, работает сейчас в кинотеатре или в гараже, во всяком случае там, где темно. Никто не догадался, что это моих рук дело. А я взял расчет.

Потом, уже работая у Бёрстенманна, я время от времени подвизался в одной конторе, занимавшейся сносом и подрывом зданий: сматывал запальную проволоку, проводил электрику. Это было славно, но настоящего удовлетворения не давало. Когда все приготовления завершались, взрывник — обязательно он, никто другой — приводил в действие рычаг включателя, и неподвижная конструкция с глухим треском рушилась. Постояв еще секунду (как недоразумение, как нечто такое, чего уже не может быть), она оседала под собственной тяжестью, складывалась гармошкой или веером. И потом поднималось облако пыли, накрывая нас и все вокруг. А когда оно рассеивалось, на наших волосах появлялась седина, а дома как не бывало, словно он провалился сквозь землю. Никогда никаких инцидентов, не говоря уже об огне. И я бросил это дело.

У Бёрстенманна меня ценят, следующее повышение по службе не за горами, мой доход неуклонно растет. Полиция меня не найдет; на единственном фотороботе, составленном по показаниям одного полуслепого дурачка, я по необъяснимым причинам — с лысиной и окладистой бородой. Мои возможности растут. И есть все основания быть довольным. Я много читаю, являюсь членом не одного книжного клуба, регулярно посещаю курсы в вечерней школе. Но это все второстепенное, я знаю. Я всегда это знал.

Даже восьмилетним мальчишкой. Вдруг вспомнилось, пока писал. Однажды я выбрался через окошко, заклеенное паутиной и пылью, на крышу коричневого родительского домика. Сам не понимаю зачем: в детстве я, к слову сказать, не отличался смелостью. И вот я оказался наверху. А потом?…

Простите, карандаш сломался, слишком сильно надавил. Странно. Не хочу точить, нет времени. Возьму новый. А потом… да, что же, собственно, потом? Да ничего. Стояла прекрасная погода, очень ясная, может, даже дул теплый ветерок. На небе тонкие ажурные волокна облаков.

Было тепло. Вокруг раскинулись дома, дома, дома, все с трубами, и из одной поднимался дым,

несмотря на жару. Жирные белые, чуть прозрачные клубы висели в воздухе спокойно, почти без движения. А высоко-высоко болталось солнце. Наверное, был как раз полдень.

Рычали моторы, и слышались голоса, но как-то слабо, словно за завесой из теплой вибрирующей тишины. Я затаил дыхание. Бушующее пламя — уж его-то я потом повидал — не шло в сравнение с этой тишиной. В домах подо мной тлели маленькие бережно хранимые огоньки, поддерживавшие жизнь. Надо мной сгорала звезда, так ярко, что даже не посмотреть. Под землей, глубоко (хотя не очень-то) в ее недрах, находилось жидкое ядро из красного расплавленного в огне камня. Стены источали жар, пропитанный им горячий воздух рябил. И вдруг я все осознал и заглянул далеко-далеко вперед, в будущее…

До настоящего момента.

Я повернулся, осторожно сделал шаг, левой рукой крепко ухватился за параболическую антенну, только что мной же установленную. Сверкающую, белую, в которой отражалось маленькое и круглое солнце. Я спрятал отвертку, вытер правой рукой пот со лба; и тут меня охватило странное чувство: déjà vu, вам оно знакомо? Чувство, что некогда ты уже пережил подобное,

или видел во сне, или сейчас видишь. Так я какое-то время стоял, обливаясь потом, на крыше, которая совсем скоро превратилась в пепел. Это было вчера. Я спустился вниз в твердой уверенности, что должен обо всем написать. Теперь понимаете?

Или все еще нет? Тогда попрошу вас взять спичечный коробок. Никаких отговорок, коробок у вас в руке. Откройте, возьмите спичку, черкните ее головкой по намазке. Иногда получается только со второго раза. Зато потом, шикнув, рождается — в первое мгновение еще совсем неопределенное — маленькое облако света. Смолкает и разрастается в пламя. Принимает форму, которую не имеет больше ни одна вещь в мире; у основания оно голубоватое, чуть повыше красно-бурое, а самый верх, кончик, чисто желтый. Пламя движется спокойно и быстро по коричневой, чернеющей и корчащейся спичке. Величественно и жадно. Слабо колыхаясь, под тихий, едва слышный шепот. Осторожно, пальцы! Еще одну секунду, пожалуйста. Вы чувствуете жар: поначалу еще приятный, щекочущий — нежное и живое прикосновение; но потом все резко меняется — огонь жалит, превращая все в сплошную болевую точку… Ах, вот вы и задули ее!

Маленькое пламя убито. Только через секунду от черной скрюченной спички, в некоторых местах еще тлеющей и вот наконец совсем потухшей, отделяется дымная ниточка. Поднимается вверх, ветвится, исчезает. И потом уже доносится запах: не скверный, а даже приятный, почти душистый. Если вам мешает, откройте окно. А теперь попробуйте вспомнить, что вы видели: эти редкие мгновения будто вне времени, не замечаете? Назовите это *Pyr.* Или *Fyrr,* или *Pahhur. Огонь* — тоже в самую точку. Слова не случайны. Именно это я, наверное, и хотел сказать. Может статься, мы встретимся, и тогда я посвящу вас. Вам не узнать меня, но я-то вас вычислю. Вероятность не так уж мала. Мне приходится много колесить.

Критика

Вагенбах медленно двигался между рядами, наконец нашел свое место, пробрался, потершись о колени соседа, сел. Сразу закрыл глаза и решил, что теперь ни за что не откроет их, пока самолет не поднимется в воздух и, набрав необходимую высоту, не окажется в безопасной зоне. Он всегда так делал; закрытые глаза и еще успокоительное, которое глоталось за полчаса, помогали побороть страх. Вагенбах вслепую застегнул ремень — этому он научился. Потом услышал шум моторов и почувствовал, как чудовищной мощности силы вдавили его в кресло и запустили в воздух, в голубое и высоко натянутое пространство. Только когда движение перестало ощущаться, он открыл глаза. Небо сияло, на западе догорала заря, внизу смутно виднелась зеленая земля.

— Простите, — обратился к нему сосед, опуская газету, — вы случайно не Вагенбах?

Это был полный мужчина с черной бородой и темными глазами, сильно увеличенными очками.

— Да.

— Вот оно что.

Мужчина снова погрузился в чтение. Вагенбах смотрел в окошко иллюминатора. Яркий свет действовал успокаивающе. Только не делать лишних движений и поменьше думать. В конце концов, лететь всего час. Но как раз по этой самой причине ни кино посмотреть не дадут, ни поесть и придется довольствоваться, пожалуй, только мягким сандвичем.

— Я часто видел вас в театре, — сказал сосед. — И по телевизору. Передача, которую вы ведете, «Музыкальный час», так, что ли?

— «Угадай мелодию». — Вагенбах отвел взгляд. Ему не хотелось говорить. Он вообще не был расположен к беседе. А уж тем более с поклонниками.

— Ну, конечно же, «Угадай мелодию». Моя жена ее никогда не пропускает. А всего две недели назад мы видели «Кто боится Вирджинию Вульф». Вот совпадение, правда?

— Хотите автограф? — спросил Вагенбах, но вопрос прозвучал не очень-то дружелюбно. Рука сама собой потянулась к карману пиджака, где лежали карточки с автографами.

— Нет, нет, благодарю.

Рука остановилась.

— Знаете ли, я не из числа ваших почитателей.

Вагенбах по-прежнему смотрел в окно и не шевелился. Облака складывались в вытянутые и причудливые картинки. Ему показалось, что он не расслышал.

— Я, собственно говоря, собираю автографы, — не унимался сосед, — у меня их целый альбом. Но нет… нет, благодарю. Ваш мне не нужен. Очень мило, конечно, с вашей стороны.

Он уставился в газету и перевернул страницу. Вагенбах потер глаза. Свет был слишком яркий.

— Если хотите знать, — продолжил сосед, — в «Вирджинии Вульф» вы, на мой взгляд, выступили слишком заурядно. Совершенно не справились с ролью. Впрочем, пару раз вам как будто удалось зацепиться, и это, разумеется, не осталось незамеченным! А как вы двигаетесь, к чему эта нервная жестикуляция? Простите меня!

Сосед уткнулся в газету. Облизал губы и принялся листать страницы. Вагенбах тер глаза.

— И моя жена того же мнения.

Вагенбах закашлялся. Вдруг послышался необычный звук. Моторы как-то странно загудели; на секунду Вагенбаха охватил приступ страха, даже голова пошла кругом; сделав глубокий вдох, он почувствовал облегчение. И решил не отвечать.

Сосед поднял голову.

— Простите меня. Это было невежливо с моей стороны.

— Ничего страшного, — ответил Вагенбах, — каждый волен иметь свой вкус, не правда ли?

Мужчина пожал плечами и снова впился в газету. Вагенбах закрыл глаза, и его окружили теплые сумерки.

— Дилетантство, — произнес голос совсем рядом.

Вагенбах вздрогнул.

— Дилетантство, — повторил голос, — два месяца тому назад в «Валленштейне». Боже мой, да вы из него клоуна сделали, понимаете? Как вам только в голову такое могло прийти? А ваш выход…

— Что мой выход? — воскликнул Вагенбах. Он открыл глаза. Этой сценой он особенно гордился, долго репетировал, заслужил много похвал.

— Ничего, ничего. Извините, — сказал сосед, облизал губы и перевернул страницу.

— Верите вы или нет, но это одна из лучших сцен!

— Ну почему же. Охотно верю.

— Что?

— Что это один из лучших моментов. Я охотно

вам верю.

Вагенбах закрыл глаза. Он бы с удовольствием вообще не шевелился. Лучше всего притвориться спящим. Главное — не вступать в дискуссию. У него нет ни малейшей охоты спорить с этим человеком, он просто хочет пережить этот полет. Страх усиливался. Голова кружилась.

— После «Валленштейна» я сказал жене: «Вот видишь?» А она ответила: «О да!» Что еще тут можно добавить?

Вагенбах старался ровно дышать. И не двигаться. Он отчетливо слышал гул моторов, бормотание пассажиров, голоса стюардесс.

— Мой отец тоже посмотрел, неделю спустя. Я позвонил ему и спросил: «Ну как?» И он сказал… — тут сосед захихикал, — нет, лучше промолчу! — Откашлялся. — Пожалуйста, простите меня! У меня даже в мыслях не было вам мешать.

Вагенбах услышал шуршание бумаги, потом все стихло. Он приоткрыл глаза. Увидел в щелку носки собственных ботинок и пол самолета между ними и вдруг совершенно ясно представил себе, что под этим полом, внизу, ничего нет. Ничего. Пропасть глубиной в десять километров: только воздух, яркий свет и пустота. Вагенбаха охватила

паника, и он невольно застонал. И потер виски.

— Вам нехорошо?

— Все… в порядке!

Вагенбах стал оглядываться по сторонам, высматривая стюардессу, он выпил бы сейчас чашечку кофе или чего покрепче. Но той нигде не было.

— Может, принести что-нибудь попить? У вас ужасный вид.

— Нет, — ответил Вагенбах, — все нормально.

— Или газету? У меня еще есть «Ньюсуик».

— Нет, спасибо.

Мужчина пожал плечами.

— Пожалуйста. Знаете, в последнем «Музыкальном часе»…

— «Угадай мелодию».

— …В «Угадай мелодию» вам тоже как будто нездоровилось. Жена еще сказала: «Ведь с ним ничего страшного не может случиться». И я заверил ее, мол, не беспокойся, с такими, как он, ничего не случается, но теперь, когда я вижу вас вот так совсем рядом, я начинаю волноваться!

Вагенбах огляделся по сторонам. Куда же подевалась стюардесса?

— А что, собственно, заставило вас связаться с этой передачей? Я имею в виду, актер такого

ранга, как вы, в некотором роде вы ведь актер, не так ли, я имею в виду, в каком-то смысле, теоретически… Так что же? Деньги?

Вагенбах потер глаза. Теперь было трудно дышать. Он открыл рот, но голос не слушался. Самолет накренился. Вагенбах совершенно отчетливо ощутил: самолет накренился.

— Почему? Вам же хорошо платят. Слишком хорошо, или я ошибаюсь? Спрашивается, на кой черт это рвачество, за которое приходится расплачиваться своей репутацией, своей… Знаете ли, как вы смешны среди этих нелепых декораций?

— Девушка! — закричал Вагенбах.

Стюардесса остановилась.

— Чашечку кофе, пожалуйста!

— Мне очень жаль, но мы уже идем на посадку. Не положено.

— Я вас прошу, — сказал Вагенбах, — принесите мне чашку кофе!

— Сожалею, но такова инструкция.

— Да вы знаете, кто я, — воскликнул Вагенбах.

— Нет.

Стюардесса отвернулась и ушла.

— Сказали бы раньше, когда я вас спрашивал, тогда еще было время. Вы же пытаетесь произвести впечатление на стюардесс! Думаете, она

смотрит «Угадай мелодию»? Думаете, кто-нибудь вообще ее смотрит? Я хочу сказать, эта передача и без вас сама по себе чудовищна!

Вагенбах сделал глубокий вдох.

— Я не потерплю, — закричал он (но вместо крика послышалось сдавленное хрипение), — оскорблений и…

— Простите! Вы совершенно правы! — сказал сосед и посмотрел на Вагенбаха, потом снял очки и сложил их. Вид у него теперь был весьма озабоченный. — Вы сидите в самолете, не хотите разговаривать, скверно себя чувствуете, и все потому, что я не являюсь вашим поклонником и позволяю себе… Простите меня!

— Ничего страшного!

— Нет, это страшно, это наглость с моей стороны, это…

— Прошу вас, — тихо сказал Вагенбах, — оставьте меня в покое!

Загорелась табличка «Не курить». Мимо пробежала стюардесса. Слишком быстро. Как будто что-то было не в порядке.

— Однажды вы мне понравились. Очень даже ничего. Для ваших возможностей, разумеется. Это было в «Мудром Натане» пять лет назад, когда вы играли Тамплиера. Эту роль даже… Хотите,

я помогу вам с ремнем… даже вы не могли испортить.

Вагенбах нащупал ремень и застегнул. Он чувствовал, как снижается самолет; видел, как приближается игрушечный ландшафт за окном; как растут дома, принимая замысловатые очертания; шум моторов как будто усилился, совсем рядом мелькнул вертолет; самолет качнулся. От страха у него перехватило дыхание.

— Даже такой профан, бездарный, абсолютно бездарный профан, как вы, который…

Вагенбах наклонился вперед. Коснулся лбом спинки впереди стоящего кресла. Моторы заревели сильнее. Неужели падаем?

— …который даже свою роль выучить не в состоянии, даже пару предложений, ах, да что говорить… Бездарный как веник!

Вдруг снизу раздался удар, прямо по корпусу самолета, и Вагенбах почувствовал, что все кончено, кончено раз и навсегда.

— Да ко всему прочему еще и тупой, если уж простой текст не может выучить! Раньше, когда вас показывали, я всегда переключал на другую программу, а теперь нарочно включаю! Это так смешно! Так смешно!

Вагенбах смотрел в окошко; там уже мелькала

посадочная полоса, пунктирные желтые линии постепенно удлинялись, самолет продолжал тормозить; некая сила выбросила Вагенбаха из кресла, и ремень врезался в тело.

— Удивительно бездарно! Смешно и удивительно бездарно!

Теперь они уже стояли. Вагенбах потирал глаза, медленно осознавая, что все позади. Что они приземлились. Что он жив. Потом отстегнул ремень, сделал над собой усилие и поднялся. Пол заходил ходуном. Голова сильно кружилась. Сосед смотрел на него снизу. Его усы блестели от пота. Волосы были всклокочены, черные глаза еще больше округлились.

— Извините меня, — сказал он, — пожалуйста!

— Что?

— Прошу вас, извините! Я вел себя безобразно!

— Пропустите, — сказал Вагенбах, протиснулся и направился к двери. Он оказался первый, дверь еще была закрыта, и пришлось ждать.

— Прекрасная посадка, — улыбнулась стюардесса, — мягкая, не правда ли? Как по учебнику!

Затем дверь открылась, и Вагенбах мог идти. Голова по-прежнему кружилась. Он глубоко дышал и старался двигаться как можно быстрее. Миновал один коридор, потом следующий, про-

шел через зеркальные залы к выдаче багажа. На ленточном конвейере одна за другой проплывали чужие сумки. Наконец-то показался и его чемодан; Вагенбах бросился к нему, схватил и заспешил к выходу. Двери автоматически открылись.

Вдруг чья-то рука легла на его плечо; Вагенбах обернулся. Перед ним стоял сосед.

— Знаете, — начал он, — это все страх. Я боюсь летать. Ужасно боюсь. Я вообще не знаю, что мне делать, что… Вот иногда и случается со мной… Понимаете?

— Уберите руку! — процедил Вагенбах.

Мужчина отступил на шаг.

— Но если честно, вы не так уж дурны. Очень даже недурны. К примеру, в «Вирджинии Вульф». Не на все сто, конечно, но все же. Вот во втором акте вы неплохо смотрелись! Хотя…

Вагенбах повернулся и замахал рукой. Но такси проносились мимо. Его бил озноб, он весь взмок.

— Хотя два или три раза вы перепутали слова, а когда попытались поправиться… Это было уморительно.

Наконец хоть кто-то остановился. Вагенбах дернул дверь, быстро залез в машину и назвал отель. Они тронулись; его так и подмывало обернуться и

посмотреть назад, но он подавил желание. Потер лоб. Голова раскалывалась. Вдоль дороги стояли похожие друг на друга дома, одинаково чужие и неинтересные.

Комната в отеле показалась ему слишком маленькой и неуютной. Вагенбах поставил чемодан и задумался, потом взял трубку. Помедлив еще секунду, набрал номер (телефон своего агента он знал наизусть).

— Алло, это я, — сказал он. — Я приехал. Итак, что у нас там по плану?

Целую минуту он слушал. Возбужденный, искаженный электроникой голос что-то с жаром ему объяснял. Вагенбах опустил трубку и посмотрел в окно. На краю тротуара росло дерево, и толстый неуклюжий карапуз играл в мяч.

— Да, — сказал он потом, — понимаю. Понимаю. Только один вопрос.

Мальчик ударил по мячу, тот подкатился к дереву и замер; ребенок беспомощно на него уставился. Подъехало такси и остановилось, из него кто-то вышел; Вагенбах решительно повернулся.

— Только один вопрос. А может, еще не поздно все отменить?

Пост

Во всем виновато честолюбие. Только оно — и это Бертольд отлично знал, — дурное, нездоровое честолюбие, всякий раз побуждавшее его браться за невыполнимое и вступать в никому не нужную борьбу, вызывая себя на жаркие, придуманные на ходу поединки, в которых, кроме него, никто не участвовал. Так вышло и на этот раз, когда он стоял голый по пояс, глубоко дышал и чувствовал холодное покалывание стетоскопа на спине; то здесь, то там враждебный металл прикасался к его беззащитному телу.

— Одевайтесь, дорогой мой! — сказал доктор Мор, прошаркал к столу, пристально в него всматриваясь, словно там лежало что-то диковинное.

Бертольд не любил, когда к нему так обращались, но вот уже тридцать лет, с самого детства, Мор иначе его и не называл, и с этим ничего нельзя было поделать. Бертольд молча взял рубашку (у той был мятый и какой-то жалкий вид), быстро накинул ее и застегнул пуговицы, с манжетами, правда, пришлось повозиться. Настала очередь джемпера. Продевая его через голову, Бертольд слышал, как в волосах и в ушах с треском вспы-

хивают маленькие искорки; а ведь на этикетке значилось «чистый хлопок», но, как и многое другое, это было чистое вранье.

— Что ж, — протянул Мор. — Все очень просто. Дело в избыточном весе.

— Неужели?

— Пятнадцать килограммов лишних. Нужно худеть.

Бертольд опустил глаза и увидел уже не совсем чистые носки ботинок и толстые складки джемпера; попробовал его вытянуть, но складки собирались снова и снова, не желая исчезать.

— Да, — сказал Мор, — в вашем случае поможет только диета. Перетерпите годик, зато потом, и только потом, наступит улучшение. Честно признаться, это не легко.

— Чушь собачья! — воскликнул Бертольд. — Да я похудею гораздо быстрее.

Его захлестнула волна раздражения и необъяснимой злобы на эту комнату, белые стены, медицинский запах и на старика, заявившего, что он толстый.

— Не исключено, — проговорил доктор Мор, — хотя тогда уж точно придется сильно постараться.

— Пятнадцать килограммов?

— Около того. Но только без глупостей, слышите? Умеренное питание…

— Понятно, понятно, — перебил Бертольд, — я все знаю.

В трамвае пустовало одно-единственное место — напротив бесформенной женщины, уплетавшей сандвич; когда ее щеки надувались, изо рта вылезал блестящий кусок колбасы; Бертольд резко отвел глаза. На небе повисли полинявшие облака. На секунду выглянуло солнце, сверкнуло и снова исчезло. Собака что-то вынюхивала в грязной луже. Перед мясной лавкой стоял небритый мужчина в покрытом красными пятнами фартуке, с белыми волосатыми руками. Трамвай сделал резкий поворот, и сандвич выскользнул у женщины из рук; булочка распалась на половинки, и жирная колбаса мягко приземлилась на ботинок Бертольда.

— О, простите, — извинилась толстуха.

Дома Бертольд открыл холодильник. Поток ледяного воздуха хлынул ему навстречу и потянулся вниз, поглаживая по ногам. Молоко, две котлеты, ветчина, колбаса трех сортов, масло, йогурт, в морозильнике — клубничное мороженое.

— Ну? — спросил себя Бертольд. — Значит, мне слабо? Думаете, слабо, да?

Он взял мороженое и отправил его в мусорное ведро. За ним последовали колбаса, котлеты и ветчина. Молоко он решил пока приберечь. В окно что-то стукнуло; Бертольд вздрогнул, но это просто начался дождь. На автоответчике ждали два сообщения: от Доры, которая, к сожалению, в эти выходные опять не могла выкроить время, и от брата, который собирался навестить его через месяц, чему уже сейчас был несказанно рад; Бертольд же не испытывал особого восторга. Он включил телевизор и принялся медленно намазывать масло на хлебцы. Потом откусил кусочек, и хлебец раскрошился. Собрав с пола остатки, он в сердцах швырнул их в мусорку. Шел скверный фильм. Около десяти Бертольд отправился на боковую.

Он проснулся в шесть утра, разбуженный голодом. Какая-то дырка образовалась во внутренностях, какая-то пустота, причинявшая боль. Дождь лил по-прежнему. Наступила суббота, а завтра, по всей вероятности, ее сменит воскресенье, не намечалось никаких дел, и Бертольд подумал: а слабо ли не завтракать?

Вопреки опасениям, это далось без особого труда. Он выпил немного молока и пошел прогуляться, по зонту барабанили капли, автобус

рассек лужу, но Бертольд на удивление быстро успел отскочить. Голод не отпускал, но и сильнее не становился. Дома Бертольд встал на весы: целый килограмм! После обеда позвонил Доре, но та не поднимала трубку. На ужин налил стакан молока, но, поразмыслив немного, вылил в раковину и вместо этого выпил воды. Включил телевизор и открыл окно. Стояла холодная ночь, безупречно чистая после дождя. В половине одиннадцатого он пошел спать; под ложечкой сосало, голод стучался и сверлил кишки. Бертольд принял сильное снотворное, и через некоторое время погрузился в глубокий сон.

Потом что-то вспыхнуло, и он проснулся. Открыл глаза и увидел длинные тонкие лучи, уже глубоко проникшие в комнату. Один из них коснулся его лица. Бертольд встал, но пол вдруг накренился, комната закружилась, и он всем телом повалился на кровать, матрац заохал в ответ. Несколько минут он лежал совершенно неподвижно и ждал, пока все стихнет. А когда собрался с силами и поднялся, время близилось к обеду, сквозь полупрозрачные облака проглядывало солнце. Бертольд сварил кофе, черный, без сахара, пил медленно, делая маленькие глотки. Дора не подходила к телефону. Он захотел

включить телевизор, но почему-то передумал. Он просидел на одном месте час или два, тупо глядя в стену: по обоям бегали круглые и овальные пятна света, то соединяясь, то снова распадаясь, в ушах звенела тишина. В конце концов Бертольд побрел в кровать. Некоторое время он не сводил глаз с черного потолка, а потом вдруг расплакался. Рыдания подступали волнами, и Бертольд чувствовал, как после каждой волны его тело сотрясалось, как все больше пропитывалась влагой подушка, но он не мог остановиться, напротив, слезы текли все сильнее и сильнее, кровать скрипела, а потолок то и дело озарялся фарами проезжающих по улице автомобилей. Видимо, слезы заглушили голод, так как неожиданно наступил день. Значит, он все-таки спал? Подушка сухая. Значит, он спал. Было около семи, и будильник должен вот-вот зазвонить. Бертольд осторожно встал с кровати, на этот раз голова не кружилась. Умылся (холодная как никогда вода подействовала благотворно), оделся, выпил пару стаканов воды и вышел на улицу.

Он чувствовал слабость, но, несмотря на это, двигался необычайно легко. Было облачно и удивительно светло: воздух словно стеклянный. Трамваи ехали быстрее обычного; вон опять

завиделась мясная лавка, в витрине висели бесформенные розовые куски; Бертольд подумал, что его, наверное, затошнит, но ничего подобного: глазам открылась просто непривычная и потому поразительная картина, не поддающаяся пониманию. На остановке он вышел. Из живота доносилось приглушенное урчание, но ощущение голода было теперь слабее и казалось уже чем-то само собой разумеющимся.

— Что-то вы сегодня бледный, — заметил Вельнер, сидевший за столом напротив. — Все в порядке?

— Лучше некуда, — ответил Бертольд и удивленно уставился на бумаги. Когда это он успел их просмотреть? Ведь он только пришел.

— И похудели как будто. Бледный и похудевший.

Бертольд взял карандаш и ловко описал им сложный пируэт вокруг указательного пальца. Монитор мерцал зеленоватым светом. Бертольд посмотрел на сослуживца и усмехнулся:

— Ах, вы находите?

Он не пошел на обед. Запах столовой, распространявшийся по кабинету, действовал на нервы. Бертольд открыл окно и выпил кофе; головокружение вернулось, но на этот раз легкое и почти

приятное. Ему следовало произвести некоторые расчеты: Бертольд вытащил калькулятор, хотя уже знал результат наперед, еще до того, как набрал все цифры. Около двух он закончил, дело сделано, заняться было решительно нечем. Еще никогда работа так не спорилась. Бертольд достал чистый лист бумаги и принялся его разглядывать. Поворачивая бумагу на свету, он заметил, что та принимала различные оттенки серого. И вдруг почувствовал на себе недоверчивый взгляд Вельнера. Взял карандаш и стал рисовать маленькие крестики, получался узор из переплетенных между собой, не сразу различимых линий. Ровно в пять (даже не требовалось смотреть на часы, он все знал) он встал и пошел.

Дул слабый ветерок, больше чем когда-либо начиняя воздух различными запахами. Бертольд решил не дожидаться трамвая, а отправился пешком; он чувствовал приятное прикосновение твердого асфальта, мимо проплывали люди, каждый по-своему замечателен и интересен и раскрывался в мельчайших деталях, выверенных со щедрой тщательностью. Ходьба утомляла, и несколько раз Бертольд делал передышку, слушая, как учащенно бьется сердце. Только через некоторое время пульс восстанавливался. Пот

бежал по его лицу.

Дома он встал на весы: уже три с половиной килограмма. Он удовлетворенно кивнул. Выпил три стакана воды — на какое-то мгновение жидкость заполнила пустоту в желудке, создав ощущение сытости — и позвонил Доре, но та опять не подходила к телефону. Вдруг он вспомнил, что приглашен сегодня в гости: завязал галстук, натянул черный пиджак и заказал такси.

— Как? — воскликнула хозяйка, фрау Шмольдер. — Вы ничего не едите? Я же специально готовила!

— Она специально готовила! — вторил супруге господин Шмольдер.

— Право, мне очень жаль, — попытался оправдываться Бертольд. — Я бы с удовольствием… Но врач!

Он беспомощно хмыкнул; фрау Шмольдер, обидевшись, пожала плечами.

Бертольд сидел за столом и смотрел на них, кроме хозяев присутствовали еще пятеро: две невзрачные супружеские пары — старая и чуть помоложе — и необыкновенно бородатый и широкий в плечах мужчина. Гости открывали рты и отправляли туда куски мяса или картофельное пюре с соусом, их щеки то раздувались, то снова

безжизненно повисали, а когда они говорили, на секунду показывались их языки и измельченное кашеобразное вещество.

— Вы серьезно? Правда ничего не едите?…

— Нет, — подтвердил Бертольд, — извините. Действительно ничего.

— Нулевая диета, — сострил господин Шмольдер. — Впрочем, ладно. Почему бы и нет. Очень эффективный метод. Но лучше с этим поосторожнее!

Бертольд внимательно посмотрел на хозяина. На его тонкую шею, морщины под глазами и сеточку линий на лбу, образовывавшую необычный рисунок. Тот определенно был болен. Или скоро должен заболеть. «Но откуда, — подумал Бертольд, — мне это известно?…»

— Я осторожен, — сказал он. — И вы тоже смотрите.

Шмольдер вздрогнул, взглянул на Бертольда, снова уткнулся в тарелку и больше не произнес ни слова. «Мне не стоило приходить», — рассудил Бертольд. Разноцветные спирали на ковре переплетались друг с другом. Сделанная под хрусталь люстра покрывала обои пятнами света. Фрау Шмольдер подала десерт — блестящую от жира коричневую массу — и воткнула туда серебряную

ложку… Бертольд зажмурился и, чтобы справиться с удушьем, сделал вдох, очень глубокий вдох.

Уже в такси он почувствовал себя скверно. Улица как-то накренилась, сначала в одну, потом в другую сторону, светящиеся рекламные щиты громоздились друг на друга, сливаясь в сплошную пелену из букв, фонарные столбы скрючивались, фасады домов неожиданно взмывали ввысь и снова уходили под землю; над тротуаром разливались волны испарений; черное небо нависло, казалось, слишком низко. Бертольд вошел в квартиру, ощупью добрался до кровати (та все норовила ускользнуть, но он таки ее настиг) и без сил упал.

Потом зазвенел будильник, Бертольд испугался и открыл глаза. «Я действительно спал в одежде, — мелькнуло у него в голове, — даже ботинки не снял. Даже ботинки!» Он встал, разделся, принял душ. От напряжения сердце бешено колотилось, но он чувствовал себя как никогда легко. В окне торчал солнечный диск, пропитывая светом все предметы: стол и стулья, душевую кабину и раковину, пустой холодильник и даже безвкусную голубую вазу на подоконнике. Он взял телефонную трубку и набрал номер Доры. На этот раз сработал автоответчик; несколько

секунд после гудка Бертольд молчал.

— Лучше всего, — проговорил он, — если мы перестанем встречаться. Я имею в виду — навсегда… — на секунду он задумался, прислушиваясь к шипению автомата, — и хорошо бы, хорошо бы, ты мне больше не звонила. Это… — он подумал и откашлялся, — это окончательно.

Бертольд положил трубку.

Некоторое время он стоял не двигаясь и пытался нагнать на себя тоску. Но ничего не получалось. Яркий свет заливал комнату. Голубь приземлился на подоконник, с тупым видом заглянул в окно, расправил крылья и скрылся, предоставив себя свободному падению. Вдруг Бертольд почувствовал, что с прошлой пятницы впервые не хочет есть. Направился в ванную и встал на весы: уже пять килограммов.

Он легко сбежал вниз по ступенькам, стремительно летевшим навстречу, вся лестница превратилась в постепенно завинчивавшуюся воронку. Пассажиры в трамвае расступились перед ним, тут же нашлось свободное место, Бертольд сел и закрыл глаза, он чувствовал, как они тормозили и снова набирали скорость, останавливались и трогались, двери открывались и закрывались, открывались и закрывались…

— У вас вчера праздник какой был? — спросил Вельнер.

— С чего вы взяли?

— Я только предположил. Да вы в зеркало на себя посмотрите!

Бертольд сел и включил компьютер: на мониторе показалась заставка из прямоугольников и букв, она постепенно вытягивалась, словно хотела выползти за экран. Бертольд зажмурился, картинка стушевалась и приняла обычные размеры. Пальцы легли на клавиатуру и застучали по ней. Ряды цифр пришли в движение, буквы возникали и исчезали. «Чем я, собственно, занимаюсь?» — спросил себя Бертольд.

— Чем вы там занимаетесь? — поинтересовался Вельнер.

Бертольд ничего не слышал. За окном над крышей самого высокого здания, очень далеко и вместе с тем совсем близко, нависла темная всепоглощающая синева неба. Бертольд потер глаза; они немного болели. Казалось, синий цвет вот-вот просочится в комнату, медленно и незаметно заполнит каждый угол и растечется по полу…

— Простите? — спросил Вельнер.

— Что?

— Нет, — запнулся Вельнер, — я имел в виду,

что… вы… Вы что-то сказали?

Бертольд задумался.

— Ничего.

Вельнер надолго впился в него глазами. Через четверть часа он встал, что-то буркнул себе под нос и поплелся в столовую. Бертольд смотрел ему вслед, потом перевел взгляд на монитор: числа, ряды чисел, это (напрягшись, он вспомнил) были расчеты на следующий квартал. Но что-то в них не сходилось, целое, которое, собственно, являлось соотношением чего-то с чем-то, не уравнивалось и пришло в заметный беспорядок. Бертольд выглянул в окно: по улице сновали люди; отсюда, сверху, как на ладони просматривались все течения, попутные и встречные людские потоки, а в одном месте образовался даже настоящий водоворот. «Может, мне все же следует что-нибудь съесть!.. Нет, даже думать противно; не хочу; выдержу».

Теперь на мониторе появилось что-то угрожающее. В числах содержалась не просто ошибка, они как будто рассказывали о нем, Бертольде. Четырехугольник монитора наблюдал за ним. Голубой цвет снаружи едва заметно сгущался в воздухе. Тикали часы. Вдруг зазвонил телефон.

Бертольд распахнул дверь и вышел. Хотелось

бежать, но, чувствуя слабость в ногах и сознавая, что спотыкаться в такой момент не имеет права, он сразу оставил эту затею. Преследуемый телефонными звонками, он пустился по неожиданно безлюдному, точно вымершему коридору к дверям лифта. Когда они открылись, Бертольд вошел в кабину, и зеркала размножили его фигуру до бесконечности, двери закрылись, затем открылись снова, он стоял на улице.

Внешние шумы вырабатывали, как ему показалось, какую-то тонкую дымку; проезжавшие мимо автомобили оставляли после себя расплывающиеся цветные следы. Бертольд стал медленно поворачиваться; почувствовав, что направление выбрано верно, тронулся с места. Сделал несколько шагов, вытащил ключи, схватился за ручку, открыл дверь и вошел в квартиру. Как, спрашивается, он здесь очутился? Дорога домой исчезла, стерлась из памяти, да и была ли она на самом деле? Дверь захлопнулась на замок. Бертольд уселся в кресло перед телевизором (он видел, как мигала лампочка автоответчика, но это его больше не интересовало) и задумался: а если все же, ну так, только из осторожности, совсем чуть-чуть… Нет, не начинать же потом все сначала. Одна только мысль об этом вызы-

вала отвращение. Его знобило. В окне сверкнул вертолет, ему наперерез летел голубь, падая штопором вниз. Вдруг Бертольд вспомнил, что в последние дни совсем не ходил в туалет и что грязная и несмотря на свою обыденность все же мучительная процедура ни разу… Он невольно рассмеялся. Комната слегка покачнулась, но он привык к головокружению, уже ставшему непременной частью большого мира, а не просто тем, что относилось только к нему, к Бертольду. «Теперь, — подумал он, — можно здесь и остаться. Вот так сидеть. Просто сидеть. И больше ничего».

Мягкая обивка кресла вызывала приятные ощущения; Бертольд, чье осязание обострилось, чувствовал через одежду каждую неровность. Он прислушивался к своему дыханию, к равномерным вдохам и выдохам; когда затрезвонил телефон, он даже не повернул головы, и через некоторое время аппарат затих сам собой. Небо попеременно окрашивалось то в красный, то в серый, а потом в черный цвета, потолок ловил их и отражал, подмешивая свой собственный грязно-желтый. Когда темнело, Бертольд не зажигал свет; мягкие сумерки благотворно действовали на глаза. Звонил телефон, потом замолкал и после некоторой передышки звонил снова.

Кромешная тьма держалась недолго. То и дело круглые разноцветные огоньки, вспыхнув, проплывали по комнате в танце и гасли. Откуда-то доносились голоса, некоторые крайне напряженные и взволнованные, но, к сожалению, понять их было невозможно; Бертольд знал этот язык, но по необъяснимым причинам не мог перевести. Пока не мог. Все стихло, едва показалось солнце. Поднялось, описало полукруг, не совсем ровный, не совсем совершенный, спустилось, озарив крыши и антенны красным, разогрело до накала несколько точек на горизонте и скрылось. Телефон трезвонил так часто, что в конце концов пришлось вытащить штекер из розетки. Несколько раз Бертольд отправлялся на кухню, где наливал себе воды, несколько раз ходил в туалет.

Ночью он крепко закрывал глаза, чтобы ни фонари, ни фары не разрушали заветную темноту. Но комната все равно наполнялась дневным светом, и каждый предмет обретал четкие и узнаваемые очертания, и предотвратить это казалось невозможно. «Очевидно, — решил Бертольд, — просто не надо забивать себе этим голову. Тогда все разрешится само собой». Голоса становились глуше, но настойчивее. Наконец наступил день.

В щель для «писем и газет» упала почта. В письме, написанном неровным почерком, говорилось, что третьего дня скоропостижно скончался Шмольдер. Около обеда в дверь застучали, только через некоторое время стук прекратился. Внимание Бертольда привлекло кое-что другое: большая стрелка настенных часов двигалась теперь быстрее. Он мог без особого труда следить за ее ходом, и это непрерывное вращение как будто тянуло за собой и катившееся по небу солнце. К вечеру скучились облака, и всю ночь напролет, а потом весь день барабанили по стеклу капли. Луна превратилась в солнце, солнце обернулось луной, на фоне звезд самолет вывел название одной лимонадной фирмы, а потом снова зарядил дождь, и на следующий день воздух был серый, стальной и какой-то враждебный. Стрелка часов крутилась еще быстрее, но Бертольд догадался, как ее перехитрить: просто не обращать внимания, тогда время иногда исчезало вовсе. Голоса больше не возвращались, и вспышки света становились все реже и реже. Однажды, из чистого любопытства, он посмотрел на маленькую голубую вазу, стоявшую на подоконнике, и повелел ей двинуться с места. Ваза сделала рывок, потом еще один, отскочила, полетела вниз на ковер и

с приглушенным звоном разбилась. Бертольд сосредоточил внимание на осколках, но те лишь слегка подрагивали и никак не желали собираться в целое. Вид их был неприятен, почти отвратителен, и вскоре он оставил их в покое. Утро и вечер сменяли друг друга едва заметно, ночи стояли короткие и почти совсем черные. Бертольд уже очень редко поднимался со своего места, сила тяжести возрастала. Зато теперь все обещало проясниться. «Вот только еще секунда, — он знал наверняка, — и все станет как дважды два четыре. Всего лишь через секунду…»

Дверь распахнулась, и в комнату вошел человек. Это оказалась не входная дверь, а другая, которую Бертольд ни разу не видел, но когда она открылась, он знал: она была здесь всегда. Мужчина в сером костюме и в шляпе держал в руке зонтик.

«Собирайтесь, — сказал он, — мы уходим».

«Кто вы?» — спросил Бертольд.

«Собирайтесь, мы уходим», — повторил пришелец.

«Я никуда не пойду, — запротестовал Бертольд, — пока вы не объясните, что вам от меня нужно и по какому такому праву вы сюда явились, и, пожалуйста, поосторожнее со своим зонтиком,

вы все намочили, и хотелось бы знать…»

«Пойдемте!» — снова сказал незнакомец.

Бертольд кивнул и поднялся. Колени болели, он с трудом удерживал равновесие; на секунду его ослепил яркий солнечный свет; Бертольд зажмурился. Человек со скучающим лицом наблюдал за ним, с его одежды и с зонтика капала вода. Бертольд шагнул к нему, в сторону открытой двери; попытался заглянуть туда, но там было темно, а здесь — светло, так что он уже больше ничего не видел. Еще шаг.

«Ну, давайте же», — торопил мужчина.

Бертольд продвинулся еще на шаг, но вдруг чья-то рука легла на его плечо, и перед ним выросло лицо в форменной фуражке. Ноги Бертольда подкосились, и он упал, стукнувшись лбом о ковер. Он еще видел снизу, как мужчина в сером костюме закрыл зонтик, пожал плечами и отвернулся, а потом почувствовал, что снова стал падать. Падать. Падать, все глубже и глубже, но на этот раз уже не было пола, который остановил бы падение…

Когда Бертольд открыл глаза, то увидел перед собой белую стену… нет, белый потолок. Неоновая трубка светилась голубоватым светом. Пахло лекарствами и дезинфицирующими средствами.

Он лежал в кровати. В руке торчала иголка, от которой тянулась тонкая трубочка к штативу с мешочком. В мешочке содержалась прозрачная жидкость с маленькими пузырьками, медленно и равномерно поднимавшимися вверх. Возле кровати стоял стул, на стуле сидел доктор Мор.

— Вы, дорогой мой, полный идиот, — приветствовал он Бертольда.

Тот посмотрел на доктора и слабо улыбнулся. На стене за спиной Мора висело зеркало: Бертольд увидел свое лицо, бледное, неузнаваемое, заштрихованные щетиной обвисшие щеки и впалые глаза.

— Вы же концы могли отдать. Довели себя до критического состояния, вам известно это?

— Да, я знаю. Кто приходил ко мне?

— Полиция. Кто-то заявил о вашем исчезновении. Некто Вельнер, ваш коллега. И очень своевременно. Офицер застал вас шатающимся по комнате, а потом вы рухнули на пол. Но вы бы ничего не добились, даже если б и умерли! Вы сбросили всего одиннадцать килограммов, всего лишь одиннадцать.

— Жаль, — сказал Бертольд.

— И скорее всего потеряли работу. Стоило ли?

— Не знаю. Возможно.

— Дважды приходила какая-то женщина. Просила передать, что она полностью согласна со всем, что вы ей наговорили на автоответчик. И она благодарит вас за то, что все так легко и просто разрешилось.

Бертольд наморщил лоб и посмотрел в окно. Занавески были задернуты, но через них, словно нарисованные тушью, проглядывали очертания дерева.

— Какой такой автоответчик?

— Ну, тут я уже не в курсе, — доктор Мор наклонился вперед и нажал какую-то кнопку, — а теперь пора немного подкрепиться! Впрочем, последние двое суток вы только это и делаете, — он показал на мешочек с воздушными пузырьками, — питательный раствор. Однако настало время для нормальной пищи.

Дверь открылась, и вошла сестра с подносом. Бертольд улыбнулся, и она ответила ему тем же. Хорошенькая фигура и длинные черные волосы. Девушка поставила поднос на тумбочку, Бертольд сел в кровати. Тарелка с яичницей, поджаристый тост. Сестра кивнула и удалилась.

— Знаете что? — сказал Бертольд. — Кажется, да.

— Простите?

Теперь контуры дерева в окне стали отчетливее, было хорошо видно каждую, даже самую малюсенькую веточку. Бертольд потянулся за тостом.

— Мне кажется, оно того стоило.

Мор пробурчал что-то нечленораздельное. Бертольд поднес тост ко рту, попробовал губами, языком. Почувствовал, какой он жесткий — жесткий и сухой. Осторожно откусил и начал жевать. Ощутил необычный, почти горький вкус. Собрался с силами и проглотил. Потом откусил еще. Это далось уже легче. Он жевал, не сводя глаз с доктора Мора, и вдруг расхохотался:

— Да, оно того стоило!

Снег

Заседание затянулось. Числа на обеих досках расплывались за паутиной извилистых линий, исписанные авторучки покоились на столах, а в пепельницах выросли горы окурков. Директор Лессинг закрыл глаза, опустил голову и потер виски. Ханзен говорил по меньшей мере уже полчаса, и его слова складывались у Лессинга в причудливые звуковые образы.

Обычная тягомотина: конкуренты разработали непредвиденные планы, прогнозы давались неутешительные, и в расчеты закралась ошибка. Ханзен и Мюльхайм не сходились во мнениях, а Бергер считал показатели графика за прошлый квартал дутыми. От кончиков сигарет тянулись вверх дымные ниточки, закручивались и растворялись. Под потолком, среди ламп, висели синеватые клубы. Чашки с кофе давным-давно опустели.

Сколько же сейчас времени? Лессинг не решался посмотреть на часы — это сочли бы за дерзость. Во всяком случае на улице уже давным-давно стемнело, семь-то уж наверняка пробило, может, даже половина восьмого… Порыв ветра ударил

в окно с такой силой, что стекла и чашки тихо задребезжали. Ханзен замолчал, и Лессинг воспользовался моментом и взглянул на стенные часы: без четверти девять. О господи, неужели они просидели уже шесть часов? В ту же секунду головная боль дала о себе знать с новой силой да еще усталость. Тьма налегала на окно. Похоже, буря разыгралась не на шутку.

А как хорошо все начиналось. Сегодня утром совсем неожиданно посыпались с неба крупные белые хлопья. Очень медленно и бесшумно. А в сводке погоды об этом, разумеется, ни слова. Из года в год одно и то же: небо ясное и удивительно низкое, и на мир — лужайку, крышу соседа, будку, деревья — ложится белое убранство света. Шумы стихают, и какое-то время все исполнено сиянием, чистотой и красотой. Но это продолжается недолго. Вскоре уже начинают скрести лопаты, выкатываются уборочные машины, химикаты превращают снег в коричневую жижу. И потом первые автомобили снова ползут по улицам.

К обеду поднялся ветер, и опять повалил снег, все больше и больше. Ребятня, продрогнув, в разочаровании поспешила из сада; ветер разрушил их снеговика, а хлопья, теперь маленькие и твердые, до боли кололи лицо. Вскоре за ними

последовала и собака, с воем и ледяной коркой на шкуре. Увы, заседание — дело решенное, от него не увильнуть. Что ж, тогда наденем самое теплое пальто, перчатки, шарф и меховую шапку. Фирма находилась в престижном пригороде. Летом там приятно, зимой свои недостатки: добраться туда сегодня нелегко, плохая видимость, снежные заносы, а в некоторых местах уже довольно скользкая дорога. И места для стоянки не сыскать. Но у фирмы свой гараж.

Ханзен сел и с удовлетворением огляделся. Собственно, теперь самое время Мюльхайму возразить, но тот безмолвствовал. У него был измученный вид, галстук сполз набок, борода всклокочена. «И в самом деле, пора закругляться», — подумал Лессинг. Воцарилась короткая пауза, все молчали, и только буря была слышна. Итак! Лессинг набрал воздух для заключительного слова, но тут Бергер поднял руку и заговорил. Он записал несколько соображений к тезисам Ханзена. Целый ряд соображений. Море соображений.

Он вещал тихо и быстро, часто оговаривался, поправлялся, начинал заново. Однажды дверь открылась, заглянула фройляйн Перске, секретарша, поджатые губки. Мюльхайм откинул

голову и тяжело дышал; доктор Кёлер, ответственная за кадры, штрихами набрасывала у себя в блокноте большого и кривого человечка, но, не дойдя до ног, остановилась. Лессинг с беспокойством рассматривал рисунок; безногое творение пугало его.

Следить за словами Бергера уже не удавалось; не желая составляться в предложения, они лишались всякого смысла и как шумы носились по комнате. Головная боль медленно перемещалась на другую сторону, мысли кружились. Лессинг нащупал коробочку с лекарствами: нужно привести в норму давление. На мгновение закралась сумасбродная мысль о том, что доски и диаграммы, компьютер и телефоны — сплошной обман, части искусно выстроенной декорации, и всем присутствующим об этом известно. Он окинул их взглядом, каждого по очереди. Ну ладно, будет вам! Я догадался…

Потом нашел таблетки, и все прошло. Он просто переутомился. Да, вот если бы в отпуск, отдохнуть, нагуляться и выспаться… Но в ближайшие месяцы на это не выкроить времени, ничего, справимся и так. Ну хорошо — теперь бы воды, и побыстрее проглотить, незачем каждому видеть. Нужно просто собраться, выпрямиться… К черту,

он выдержит столько, сколько каждый из них, а на худой конец даже больше!

Только сейчас он заметил, что на него все смотрят. Блестящие стекла очков Ханзена, борода Мюльхайма, свеженалаченные волосы Бергера, острый нос фрау Кёлер. Его охватил ужас, но потом он смекнул: все ждут не дождутся, чтобы он закончил заседание. Слава богу, наконец-то! Теперь поскорее, пока еще один приступ не схватил кого-нибудь!

— Ну хорошо, — услышал он собственный голос, потом откашлялся и повторил еще раз, — ну хорошо…

Ветер забился в окно, чашки снова задребезжали, карандаш тихонько, с деревянным стуком подкатился к краю стола и, никем не подхваченный, беззвучно упал вниз. Лессинг не видел, как он приземлился на ковре; удара не последовало. Он потер глаза. Сказал в третий раз:

— Ну хорошо… Нам все-таки удалось сегодня обсудить… некоторые важные моменты. А по оставшимся пунктам мы непременно… — Лампочки замигали, с улицы вдруг послышался глухой металлический скрежет. Лессинг повернулся к окну, но другие, казалось, ничего не заметили. — …непременно найдем решение.

Господа и… наша дама, — он любил повторять эту шутку, но на этот раз впервые никто не улыбнулся, — желаю вам доброй ночи!

— Лучше пожелайте нам доброго пути, — заметил Бергер. — Будет нелегко.

Вошедшая в эту минуту фройляйн Перске решительно закивала:

— Я только что слушала новости: повсюду аварии. Может, вам лучше остаться?

Бергер засмеялся.

— Вы хотите сказать, заночевать здесь? Ну, если у кого-нибудь есть желание, милости прошу! — Он хмыкнул и вышел. Мюльхайм раздраженно посмотрел на него, что-то пробурчал и отправился следом.

Гараж был почти пуст. Лессинг рылся в карманах пальто в поисках ключа, он старался глубоко дышать, накачивая тело кислородом. Они попрощались; все говорили очень тихо, без всякой на то причины. Потом каждый забрался в свою машину; хлопнули дверцы, через несколько секунд завелись моторы, и вспыхнули яркие круги фар. Лессинг сидел и ждал; мимо одна за другой проехали к воротам машины и скрылись в ночи, сначала одна, за ней еще одна, еще и, наконец, последняя.

Потом наступила тишина. Несколько лампочек слабо освещали помещение, отбрасывая на полу длинные тени, все замерло, все вокруг. Холодный воздух был приятен; Лессинг ощутил прилив сил. Ну что ж, в путь!

На улице было белым-бело. Дорога, небо и воздух. Снег падал сверху, и снег поднимался от земли; куда ни кинешь взгляд — везде неслись, кружились, прыгали снежинки. Лессинг чувствовал, как ветер рвал руль и как колеса под ним пытались сохранить равновесие. Не гнать! Ехать медленно и осторожно!.. Он продвигался вперед метр за метром, и вот сквозь белую рябь завиднелись знакомые очертания зданий. Теперь налево, на главную дорогу.

И вдруг все стало. Огни — желтые, красные, вращающиеся огни вырывали из темноты то справа, то слева стены, двери, окна, пожарные краны. Вдали завывали сирены. Машины замерли поперек дороги, перегородив тротуар и уткнувшись в сугроб; поодаль, в пятидесяти метрах, сцепились друг с другом три автомобиля, освещенные красной мигалкой. Полицейский с бесполезным сигнальным флажком в руке метался взад-вперед; кругом толпились люди в заснеженных куртках. Мелькнула детская фигурка, ребенок

перебежал через улицу и растворился в темноте.

Лессинг мгновенно принял решение: задний ход, разворот (затылок чудовищно болел) и обратно. Мотор завыл, но повиновался. Еще несколько секунд виднелись отблески бесчисленных огней.

А что теперь? Он никогда не мог похвастаться хорошим чувством ориентации; теперь же предстояло добраться домой, избегая больших дорог. Через некоторое время он припомнил одну улочку, по которой проезжал несколько лет назад. Да, все-таки есть еще путь.

— Ну хорошо, — пробормотал он и вдруг поймал себя на том, что сегодня эти два слова прямо-таки не сходят у него с языка. Открыл бардачок (с подсветкой, дополнительно установленной в его машине, как и многое другое) и обнаружил, что карты там нет.

Миновав еще несколько перекрестков, он уже не знал, где находится. То и дело навстречу попадались автомобили, продвигавшиеся вперед с неистово работающими дворниками; пешеход в пальто и шляпе замахал ему рукой и что-то прокричал, но Лессинг ничего не разобрал. Огромная снегоуборочная машина вяло проползла мимо, оставляя за собой никому не нужный галечный след.

Наконец-то вынырнула площадь, показавшаяся как будто знакомой. Фонтан и исполненная достоинства статуя с копьем в руке, призрачно торчавшая торчком. Со вздохом облегчения Лессинг включил радиоприемник. Послышалось только низкое гудение, разбавленное звуками — обрывками слов или чего-то другого. Он нащупал ручку настройки (нет, не эта; это громкость; другая, точно), после недолгих поисков шумы сложились в женский голос. «На настоящий момент движение на большинстве главных дорог остановлено. Власти прилагают все усилия, чтобы как можно скорее устранить заторы…». Свист усиливался и снова ослабевал: «…уборочные службы перегружены, и все только потому, что снегопад совершенно неожиданно…» Голос оборвался, оставив один шипящий хрип. Лессинг нервно закрутил ручку. «…Рекомендуем ни в коем случае не садиться за руль». Он выругался и выключил.

Некоторое время машина продвигалась вперед довольно быстро. Знакомая улица переходила в следующую, на пути никаких препятствий, и дом постепенно приближался. На поворотах чувствовалось, как немая сила стремилась смести его с дороги, но автомобиль не поддавался. Совсем ско-

ро он окажется в кровати. И наконец-то заснет.

Стоп! О господи, на секунду расслабился и… Где он? Ничего, совсем ничего: ни этого плаката с призывом «Глотни-ка пивка», ни часовни с качающимся железным крестом на куполе, ни этого въезда в гараж он прежде никогда не видел. Главное, спокойно; спокойно! По крайней мере направление выбрано верно.

Вдруг он почувствовал неладное, и в ту же секунду до его слуха донесся шум прокручивавшихся колес. Он рванул передачу и дал газ; чудовищная сила с ревом хлынула в мотор, снег брызнул, затем — толчок, и машина освободилась. Навстречу выплыл фонарный столб; Лессинг повернул руль, какой-то размякший, будто резиновый, столб описал кривую, отдалился, приблизился снова и ударил в правую заднюю дверь. Лессинг с трудом переводил дыхание. Он даже не нашел в себе сил разозлиться — такая его одолела усталость.

Дома становились все ниже, расстояние между ними больше, время от времени выныривали сады и деревья, и это было сейчас гораздо важнее. Местность походила на ту, в какой жил Лессинг. Возможно, он находился где-то поблизости… надо бы спросить. И только теперь он вдруг заметил,

что уже давно никто не попадался ему навстречу. Ни один человек и ни одна машина.

Дорога шла прямо; по обеим ее сторонам стояли приземистые домики, окруженные заборами. Горели окна, аллея из фонарей и фары автомобиля посылали в ночь немного света, маленькие, четко отграниченные огненные сферы. Снег уже не падал хлопьями, а превратился в белый искрящийся и стелющийся туман, в бушующую силу, наполнявшую ревом воздух и небо. Похожие на перепуганные скелеты деревья клонились к земле, прижимая к себе ветви. Упавший сучок задел ветровое стекло, Лессинг испугался. В ту же секунду дорога оборвалась и перешла в до сих пор невидимый поворот. Лессинг сделал то, чего делать как раз не следовало: ударил по тормозам.

Горизонт беззвучно поднялся к небу и вихрем пронесся над головой: раз, другой. Дома, деревья и дорога распались на мелькающие тени. Потом толчок, и все замерло. Постепенно черные силуэты снова стали частью узнаваемого мира.

Некоторое время Лессинг слышал только свое дыхание и частое биение сердца. Потом увидел руки: они лежали на коленях и дрожали. Но усталость отпустила. Мотор еще работал. Лессинг заглушил его. Открыл дверь, вышел.

И по колено провалился в снег. Это оказалась маленькая полянка с одиноким деревом посредине. Из сугроба торчала спинка скамейки, рядом — верхняя часть таблички «Гулять с собаками…». Тяжело ступая и прикрывая рукой лицо (дул ледяной ветер и было больно), обошел вокруг машины и со всех сторон ее осмотрел. Совершенно ясно: ничего не выйдет. Выехать не получится.

— Ну хорошо, — сказал он вслух. Взял перчатки с соседнего кресла, надел и нащупал замок. Потом остановился. А стоит ли вообще закрывать? Машина засела прочно. К черту, если найдется живая душа, способная выбраться отсюда, тогда пусть и ее заберет! Лессинг швырнул ключ на водительское сиденье и захлопнул дверь. Затем повернулся навстречу ветру и, не оглядываясь, пошел прочь. «Что это было, — думал он; к его удивлению, головная боль прошла. — Неужели это я? Да, — ответил он, — это был я».

Он думал найти телефонную будку и вызвать такси. А если это невозможно, тогда, в крайнем случае, полицию, «скорую» или пожарников, на худой конец вертолет, он будет звонить до тех пор, пока не попадет на того, кто отвезет его домой. Однако будки нигде не было. Все оставалось без изменений: улица, дома, деревья, ветер.

Раз он натолкнулся на указатель, но название ни о чем ему не говорило. Сколько же натикало времени? Даже это не установить: уже слишком темно, и цифры на часах не разглядеть, а для тусклого мерцающей подсветки еще светло. Бертольд чувствовал безграничную усталость.

И вдруг за спиной раздался звук. Высокий звон. Он повернулся и увидел одинокий, медленно плывущий прожектор. Только теперь в глаза бросились натянутые вдоль дороги электропровода. Трамвай! Здесь ходит трамвай! И Лессинг запрыгал, размахивая руками.

Несколько страшных секунд казалось, что трамвай проедет мимо, несмотря на призывы и то, что по его железному корпусу колотили кулаками. Но потом, уже оставив Лессинга позади, он все-таки затормозил. Лессинг добежал до последней двери, нажал кнопку и забрался в вагон. Двери закрылись, и трамвай тронулся.

Лессинг был один. На мокром полу валялись полурастаявшие комки снега; откуда-то выкатилось надкусанное яблоко, на секунду замерло, а потом скрылось под другим сиденьем. Молочная тьма залепила окна; Лессинг расчистил несколько сантиметров: хлопья задувало к стеклу, а за стеклом неслось, кружась в воздухе и мелькая в

свете фонаря, что-то черное — наверное, птица, или тряпка, а может, клочок бумаги. Какой это маршрут? Куда он ехал? Не важно, не имеет значения, ведь в конце концов трамвай прибудет туда, где есть люди. И главное, телефон. Лессинг сел и закрыл глаза.

В его помутненном сознании проносились светящиеся хлопья снега; вдоль горизонта медленно, тонкой ниточкой протянулась молния, разветвилась и, тускло вспыхнув, потухла. Однажды ему даже почудились голоса, приглушенные и едва различимые, но он не обратил на них внимания, и вскоре они стихли. Чувствовалась только легкая тряска, время от времени усиливавшаяся с завыванием ветра…

Когда тряска прекратилась, Лессинг очнулся. Открыл глаза. Трамвай стоял.

Он поднялся, зевнул и завертел головой, туда-сюда, расслабляя мускулы шеи. Во рту ощущался горьковатый привкус, хотелось сплюнуть. Он протер окно, но ничего не увидел, только ночь, снег. Было холодно; постукивая руками в толстых перчатках, Лессинг прошел в конец вагона. Там повернулся и направился обратно. «Как в тюрьме», — подумал он и попытался улыбнуться.

Стояли уже слишком долго. Господи, неуже-

ли и этот несчастный трамвай теперь застрял? Лессинг выглянул и стал напряженно всматриваться.

Так! С него довольно. Он пройдет вперед, и водитель ему объяснит, в чем дело. В крайнем случае можно вызвать помощь по радио. Проклятье, теперь пора действовать. Лессинг подступил к дверям и решительно нажал красную кнопку.

Двери послушно открылись. Холод и ветер ударили в лицо, и облако колючих хлопьев накрыло Лессинга. Он невольно отпрянул назад, потом собрался с духом, поднял воротник пальто и сошел вниз, на воздух.

Стояла кромешная тьма, ни одного фонаря. Лессинг услышал, как закрылись за ним двери. И потом, почти беззвучно, трамвай пришел в движение. Лессинг обернулся и увидел, как мимо проплыла предпоследняя дверь, последняя, а потом задние фары стали удаляться все дальше и дальше. Равнодушные к его крикам. Лессинг побежал. Но при этом остался на месте, и вдруг его посетило знакомое, сотни раз испытанное во сне чувство: будто бежишь и бежишь от погони, но она все ближе, а цель все дальше, и ты продвигаешься вперед слишком медленно, хотя стараешься изо всех сил, и быстрее не можешь.

Тело непомерно отяжелело, и его тянуло вниз, воздух тоже отяжелел, а земля превратилась в клейкую массу. «Неужели это сон, — спрашивал он себя, продираясь против ветра и прислушиваясь к тяжелому дыханию, — неужели это действительно всего лишь сон? И если я захочу, когда я захочу, все кончится?...» Не веря самому себе, он рассмеялся и повалился в снег. И упал. Мир вокруг отступил; Лессинг почувствовал, как растянулось мгновение и реальность незаметно соскользнула в другую. А потом его окутало и приняло что-то мягкое и белое, и он знал, что теперь находится в безопасности. И открыл глаза.

Трамвай светился одной лишь точкой, которая все уменьшалась, желтела и гасла. Снег залепил глаза, Лессинг провел рукой по лицу, но ничего не помогло, перчатка тоже была в снегу, и пальто, и брюки — всё. Он попробовал встать, но это оказалось не легко; он лежал, вытянувшись, на холодной жесткой корке, не желавшей его отпускать. А когда наконец поднялся, тут же снова потерял равновесие, пошатнулся и упал.

Глаза привыкли к темноте. Теперь он все-таки стоял, на сверкающей белой поверхности; ветер срывал с нее снег, похожий на порошковую пыль; по земле стелились зубчатые волны. С одной

стороны виднелись деревья, с другой — очертания чего-то большого и многоугольного. Дома? Да, похоже, это дома; трамваи не ходят за город. Только теперь он заметил, что брел с непокрытой головой. Скорее всего при падении его меховая шапка… Шапки нигде не было, снег, верно, уже ее запорошил.

И он двинулся дальше. Туда, где стояли дома. Ветер, казалось, больше не имел направления, а обрушивался сразу со всех сторон; и ничего, кроме бушующей, пропитанной белым темноты. Шарф с одного конца развязался и теперь трепыхался за ним как жалкий флажок. Когда Лессинг его поймал, тот уже задеревенел от мороза. Снег доходил до колен, потом стал мельче, потом снова глубже. Лессинг словно утопал в вязкой жидкости, текущей навстречу, готовой его раздавить. Он остановился и попробовал сориентироваться: дома впереди исчезли. Он медленно повернулся, и они снова выглянули. Справа, но ничуть не ближе. Он больше не пытался защитить лицо, боль сделалась терпимой. Вдруг ни с того ни с сего он вспомнил Мюльхайма, Ханзена и докторшу Кёлер и замотал головой при мысли о том, что еще совсем недавно сидел у них, с цифрами, калькуляциями и прогнозами… Нет, это

они были абсурдом; это они были невероятным порождением фантазии; он никогда их не видел; их никогда не было; не было ничего кроме хаоса этой ночи. Даже мысль о семье, о жене и трех детях казалась чем-то отвлеченным, ненужным. И он отбросил ее в сторону.

Усталость растекалась по телу от самой шеи, которая больше не могла держать голову прямо, на плечи, в легкие (он впервые ясно ощутил, что на нем лежали многие тонны воздуха, и при каждом вдохе их приходилось отжимать) и вниз к ногам, слабевшим с каждой минутой. Но останавливаться нельзя, и уж ни в коем случае нельзя падать. Почему тот человек махал ему? Теперь снег стал глубже.

И вдруг Лессинг понял. Дальше не нужно. Все кончено.

Он остановился, запрокинул голову назад и стал завороженно смотреть на слабый мерцающий свет. Мерцание и бесконечный черный свод. Колени подогнулись, и прошедшая жизнь промелькнула как отзвучавшая нота, как тень воспоминания; когда снег подхватил его, он уже ничего не знал об этом. Он из последних сил перекатился на спину. Потом обратил глаза к небу, прислушался к странному биению сердца

и почувствовал, как на ресницы и губы ложится холодок. За бурей таилось великое спокойствие. Лессинг улыбнулся и закрыл глаза. Еще никогда он не был так счастлив.

Время Малера
Роман

Who talks of Plato's spindle;
What set it whirling round?
Eternity may dwindle,
Time is unwound.[26]

W. B. Yeats.
His Bargain

Мы не должны падать духом, обнаруживая за новыми открытиями неизведанные бездны. Быть может, найдутся даже охотники, утверждающие, что природа пользовалась недозволенными приемами.

Артур Эддингтон.
Физическая картина мира

---

[26] Примечания: 26

Не о веретене Платона речь;
Кто на себя взвалил крученья бремя?
А то ведь вечность может вдруг истечь,
Размотанным оставив время.

У. Б. Йейтс. Его сделка

Перевод Елизаветы Соколовой

I

Этой ночью Давид Малер сделал важнейшее в своей жизни открытие.

Ему навстречу двигался мужчина. В шляпе и сером пальто, в руке — портфель, что-то в его облике вызывало доверие, но вместе с тем настораживало. Человек стремительно приближался. Пальто развевалось, шляпа сползла набок, портфель равномерно покачивался. Вдруг оказалось, что это вовсе не мужчина, а женщина с большой, даже чересчур большой дамской сумочкой, потом она обернулась маленькой девочкой с тощими ручонками и дрожащими за спиной стрекозиными крылышками… Давид попытался бежать. Но его словно парализовало, ноги не слушались, будто их не было вовсе, да и самого тела тоже; хотелось глотнуть воздуха и закричать изо всех сил, но голос пропал, а вместе с ним и воздух словно испарился; тем временем фигура приближалась. И вдруг начала распадаться, ее очертания изменились, слились с зеленоватым горизонтом и исчезли. Вот уже расплылась и линия горизонта, остался только страх — абстрактное, беспричинное чувство страха. Оно

целиком завладело Давидом, но надолго или нет, сказать было невозможно, ибо время превратилось в необычайно растянутое настоящее. Давид встретился с ним один на один.

И все-таки попробовал запомнить сон. Правда, ничего не вышло: мгновение он еще цеплялся, не понимая толком, за что именно, но стоило ему пошевелиться, как все покачнулось, закружилось и растаяло. Стало прошлым. Давид открыл глаза.

Одну за другой свет рисовал на потолке белесые кривые полоски. Через некоторое время они как будто пришли в движение и заколыхались. А когда на улице проехал автомобиль, вспыхнули на секунду желтым светом. Совсем рядом послышался шорох. Но Давид не повернул головы и продолжал смотреть в потолок, по которому тихо разливался поток света. Он чувствовал: что-то постепенно начинало проясняться.

Вырисовывалась система чисел. Система совершенной красоты, разрастаясь, образовывала все новые кристаллики, Давид всматривался и соображал. Он боялся даже пошевелиться. Все вокруг кружилось — мир за окном и комната, даже кровать будто бы медленно заскользила в пространстве. Только он не смел двигаться.

Сердце учащенно забилось. Кровать сделала

неожиданный поворот, и высокий, необычайно чистый звук пронзил воздух. Давид задержал дыхание. Поток света на потолке бежал все быстрей. Голова кружилась. Ему едва хватило сил подняться, откинуть одеяло и выползти из кровати.

Давид устремился к окну. Оно удалялось. Давид ускорил шаг и добрался-таки. Прямо под окном, на улице, стоял фонарь. Но что-то здесь не сходилось, фонарь не горел, чего-то недоставало: разбитый матовый плафон валялся на асфальте. Мимо прошел мужчина, и осколки захрустели под его ногами. Давид облокотился о подоконник и почувствовал холодок. Обернулся. В постели с закрытыми глазами лежал человек и ровно дышал, человек показался ему знакомым. Знакомым даже слишком хорошо. Тут Давида осенило: да это же он сам.

Давид вздрогнул. И открыл глаза.

Он лежал в кровати. В темной комнате никого. Осторожно откинув одеяло, он встал и подошел к окну.

Стекло запотело от его дыхания. Давид протер его ладонью и тут увидел внизу разбитый фонарь. С грохотом проехал автомобиль. Давид повернулся. Глазам открылась мирная комната. Вот только фонарь на улице разбит. А ведь еще

вчера вечером стоял целехонек.

Давид побрел обратно к кровати, пощупывая босыми ногами мягкий ковер, забрался под одеяло. Закрыл глаза и притаился. Рядом на ночном столике тикали часы.

Снова явилась знакомая картина. Только теперь более ясная. Впервые в жизни после стольких трудов ему довелось иметь дело с продуктом чистой математики. И не требовалось никаких усилий, ибо все возникало само собой. Числа, еще не ставшие окончательно числами, понятия, еще не получившие определений, формы, еще не вошедшие в употребление. Тиканье часов задавало ритм, возводя каркас, на который нанизывались и выстраивались по порядку плывущие мимо формулы. Давид слышал каждый свой вдох, переходивший в хрип, но все равно не открывал глаза и не шевелился. Часы тикали. И это тиканье, состоявшее из чередования тишины и однообразных стуков, уже не просто сопровождало его, но внедрялось в самый водоворот мыслей, неожиданно наполняясь смыслом. На улице завыл автомобиль, заведенный каким-то недотепой. И в эту самую секунду в доселе скрытую, неизвестную область сознания Давида вселилась уверенность. Теплыми искрящимися волнами

она стала разливаться все шире и шире — вперед, сквозь него и дальше, во внешнее пространство.

Некоторое время Давид лежал словно покойник. Только ход часов нарушал тишину. Потом он открыл глаза.

Сверху нависал потолок, этакая разглаженная поверхность темноты. Виднелись серые силуэты мебели. Четырехугольник шкафа, очертания письменного стола, углы стоящего впереди кресла. Захотелось повернуться на бок, но силы отказали. «Наконец-то, — тихо сказал Давид, отметив, что голос его звучал необычно. — Наконец-то!»

Потом что-то произошло. Давид попробовал сделать вдох, только ничего не получалось; что-то сковало легкие и перекрыло дыхание; сердце бешено колотилось. Он протянул руку и в поисках ингалятора принялся шарить на ночном столике, отодвигая в стороны различные предметы, что-то упало, он не знал что, лекарства не было, не было… Наконец пузырек нашелся. Давид поднес его ко рту, вытянул губы трубочкой, сделал вдох и почувствовал горьковатый привкус.

Подождал. Часы отсчитывали: десять, пятнадцать… двадцать секунд. И наступило облегчение. Давид осторожно вдохнул, выдохнул, снова

вдохнул. Пузырек выскользнул из пальцев и исчез где-то в постели. Пульс забился ровнее, дрожь прекратилась. Давид повернулся на бок.

Ему так хотелось еще раз вызвать в воображении знакомую картину, но он подавил желание. Лучше сделать это завтра или послезавтра, да когда угодно, ведь теперь она всецело принадлежала ему. Он почувствовал, как подступал сон: глубокий, приятный, ничем не угрожавший сон. Тихое журчание тишины постепенно заглушало ход часов и доносившийся с улицы шум машин.

Давид улыбнулся.

II

Пронзительный свист разрезал темноту. Рука привычно вытянулась и выключила будильник. Половина восьмого! Давид открыл глаза, сбросил гнет сновидений, сел.

Шел дождь. Капли ударяли по стеклу и стекали прозрачными кругами, разрывавшимися книзу. Голова раскалывалась. Во рту и где-то глубоко внутри все пересохло. Давид прокашлялся, откинул одеяло и выполз из кровати.

Голова закружилась, но лишь на несколько секунд. Он сразу же вспомнил про формулы: да, все были здесь, пока все здесь. Подошел к окну и распахнул створки. В лицо повеяло влагой, Давид зажмурил глаза. По улице сновали раскрытые зонтики, какой-то мужчина укрылся газетой, ребенок в дождевике прыгал по луже, потом задрал голову, и на мгновение их взгляды встретились, ребенок засмеялся. Дворник подметал осколки стекла, с его плаща ручьем стекала вода. Рядом возвышался обезглавленный фонарь.

Давид отступил назад, закрыл окно и тяжело опустился в кресло. Долго не сводил глаз с письменного стола. Потом бросился к телефону.

— Да? — Фрау Виммер по-прежнему приходила в институт раньше восьми.

— Это я, — сказал Давид, — сегодня я не смогу. Плохо себя чувствую.

— Грипп?

— По всей вероятности. Вы должны подыскать мне замену.

— Доктор Малер, но сейчас действительно никого не найти.

— Придется. Я не могу!

Давид услышал тяжелый вздох фрау Виммер и, опередив ее, положил трубку.

На секунду он задумался. Потом взял карандаш, потыкал грифелем бумагу и приступил к работе. Следовало все записать. Какое-то мгновение он медлил: клетки на бумаге расплывались, искривлялись, наезжали друг на друга. Потер глаза. Линии опять собрались в крошечные и одинаково пустые ячейки. Квадратики, ожидавшие только того, чтобы их заполнили. Готовые вместить в себя все его знания.

Давид писал.

Время от времени поднимал голову: ветер крепчал. Лил дождь, барабаня по стенам и в окна домов; на улице скрюченные человечки, опустив головы, боком продвигались вперед, некоторые

забегали под козырьки подъездов и ждали. Дворники на стеклах автомобилей без остановки шмыгали туда-сюда. Мимо пробежали три девочки, открыв рты и подставив небу мокрые лица. За ними проследовал прилизанный пес. Неожиданно дождь кончился. Но только несколько минут спустя сложился первый зонтик, за ним еще один, а потом все остальные. Белесая слизь затянула небо, она росла, раздаваясь вширь, словно под воздействием химической реакции серый цвет превратился в расплывчатую светящуюся дымку. Удушливый белый пар поднимался от асфальта. В луже резвилась собака, постепенно ее осушая. Тучи разорвались, и в просвете голубого неба наконец-то выглянуло солнце, бледным кружком отразившись во всех лужах и стеклах. Собака выползла из *мутной* воды, застыла на секунду, полакала из лужи и убежала. На краю тротуара, будто кривое зеркало, блеснуло стеклышко, это оказался осколок разбитого плафона.

Давид испугался. Мороз пробежал у него по коже. Несколько долгих секунд он вообще не понимал, где находится. Что-то произошло. Как если бы тело дало трещину и он лишился какой-то части себя. И вдруг почувствовал движение, что-то надвигалось. Перед ним на столе лежала

стопка бумаги — тридцать листов, исписанных крупным нервным почерком: чуть покосившиеся столбцы цифр, чертежи, графики, извивающиеся на бумаге большими кривыми, бессмысленные на первый взгляд диаграммы, помеченные значками, названия которым пришлось выдумать; но стоило только вникнуть в эту систему, и она поражала своей удивительной ясностью. Сколько же прошло времени? Солнце слепило глаза и здорово припекало, на лбу у Давида выступила испарина.

Он поднялся. Все тело ныло, ноги как ватные, пальцы с трудом разгибались. Часы по-прежнему лежали на ночном столике. Показывали почти три.

Он включил кофеварку. Отправился в ванную, несколько минут рассматривал в зеркале свое лицо. Толстое и красное, с широким носом и сильно оттопыренными ушами — еще ни разу при виде этой физиономии он не испытал чувство удовлетворения. Он побрился, умылся и побрел на кухню, где выпил три чашки кофе, с беспокойством прислушиваясь, как учащенно бьется сердце.

Вернулся к письменному столу. На книжной полке стояли, выстроившись в рядок, труды Нью-

тона, Больцмана, Маха, Эйнштейна, Пригожина, Валентинова. Среди них все «Грани физики» за последние десять лет, подшитые в пять толстенных папок и изученные от корки до корки. В буквальном смысле от корки до корки: Давид знал каждое слово. Он взял трубку и набрал номер.

— Да? — послышался голос Марселя. — Что? — Дело сделано. Я нашел разгадку.

— Ты не совсем кстати, Давид. Я как раз собирался уходить.

— У меня есть решение.

Марсель помолчал. Потом откашлялся:

— Правда?

— Да.

— Поздравляю, — сказал Марсель. — Может, встретимся завтра, в десять?

Давид не ответил.

— Прекрасно, тогда до завтра! Это нужно отметить. Вот мы к сделаем это завтра. Мои поздравления!

Послышались гудки: Марсель положил трубку.

Давид подумал секунду и набрал новый номер.

На другом конце не подходили, сработал автоответчик. Раздался гудок, потом шипение, аппарат внимательно его слушал.

— Скорее всего ты не поверишь, — протянул Давид. — Но вчера… то есть сегодня я совершенно случайно нашел решение. Мне удалось… Это изменит все. Я подумал, тебе это будет интересно. Может, встретимся.

Он помедлил.

— Пойду прогуляюсь. Извини, я немного… Давид положил трубку.

Второпях натянул носки, брюки, свитер. С ботинками неожиданно пришлось повозиться: никак не удавалось справиться со шнурками и завязать бантики. На лестнице с ним поздоровались, Давид не ответил. Засунул руки в карманы и вышел на улицу.

Остановился, запрокинул голову и почувствовал теплое прикосновение круглого горячего и расплывающегося солнца; за закрытыми глазами наступили оранжевые сумерки. В желудке урчало, хотелось есть. Кто-то грубо задел его плечом, чья-то собака тыкалась мордой в его башмаки. Разбитый фонарь остался за спиной, Давид ощущал его присутствие так же ясно, как больное место на теле. Он мог точно сказать, когда солнце выглядывало, когда пряталось и появлялось снова, словно подавало кому-то знак.

Он медленно тронулся с места. Земля под нога-

ми казалась твердой и не совсем гладкой, люди с плакатов, расклеенных вдоль дороги, пристально смотрели на него сверху вниз; честное слово — они смотрели только на него; Давид смутился, почувствовав себя в центре всеобщего внимания. «Ну уж нет, — сказал он сам себе, — это ошибка, этого не может быть!» Свернул за угол и очутился посреди широкой грохочущей улицы.

Он догадался обо всем за несколько секунд до того, как можно было что-нибудь увидеть или услышать. Нагнул голову и съежился. Раздался металлический скрежет. Обойдя вокруг, Давид увидел, что зеленый грузовик выехал на тротуар и врезался в жилой дом. Какая-то женщина закричала, вторя ей, заревел мужчина, люди разбегались, удирали во все лопатки, пес волочил за собой никому не нужный поводок, автомобильный вой нарастал, пока не повис в воздухе, слабо вибрируя… мгновение остановилось.

Накренившийся грузовик спокойно балансировал на двух колесах, легко сохраняя равновесие. Казалось, он так простоит еще долго. Даже люди застыли на месте. Посреди улицы, на ходу, под сопровождение автомобильных аккордов. Только голубь, плавно взмахивая крыльями, чинно парил в небе.

Потом оцепенение прошло. Машина со скрежетом повалилась на бок. Люди опять обратились в бегство, заглушая криками гул машин, голубь скрылся из виду. Давид встал на цыпочки, чтобы лучше наблюдать картину всеобщего бегства, но вдруг толпа отступила, подалась назад… что же могло ее напугать? Вскоре все прояснилось.

Люди бежали подальше от прозрачной жидкости, распространявшей сладкий запах. Она растекалась и образовывала разрастающийся полукруг; в некоторых местах уже вспыхивали живые языки пламени. Их становилось все больше. Они загорались повсюду — вокруг перевернувшегося грузовика и внутри его. Вдруг дверь кабины водителя приоткрылась. В нее протиснулся человек в синем комбинезоне, спрыгнул вниз, с трудом встал на ноги и побежал. Усы и длинные волосы, по лбу бежала тонкая струйка крови. Растерянный взгляд, перекошенное лицо… водителю почти удалось…

Но пламя успело его настигнуть. Комбинезон насквозь пропитался жидкостью, и вскоре огонь полыхал уже везде. Давид попятился назад, он отступал шаг за шагом и ни на секунду не выпускал из поля зрения мужчину, который исполнял немой танец, скача вверх — вниз, вверх — вниз

(только почему-то не кричал), кружился волчком и снова подпрыгивал; желтый шарик, вылетевший из рук ребенка, медленно и беззаботно поднимался в небесную синеву.

Кто-то прибежал с огнетушителем: струей била белая пена, пламя меняло цвет, какое-то мгновение еще сопротивлялось, а потом стало медленно гаснуть, вспыхивая все реже и реже, и в конце концов превратилось в тлеющие красные огоньки. Несколько мыльных пузырей отделились, незамеченными проплыли в воздухе и лопнули. Ветер разносил чудовищно едкий запах, Давид прикрыл нос рукой, на секунду зажмурил глаза и оказался один на один со зловонием, беспомощно колотившимся сердцем, замершим от ужаса дыханием, и в голову к нему закралось странное подозрение. Он открыл глаза.

Мужчина лежал лицом вниз и не шевелился. От комбинезона ничего не осталось, он превратился в свет и тепло, да еще черный дым, который, поднимаясь вверх, постепенно рассеивался, пока не исчез совсем. Шарик улетел так далеко, что виднелось лишь цветное пятнышко. В нескольких местах жидкость еще горела, но вот уже и ее потушили, и дышать стало легче. Давид повернулся и скрылся за углом.

Солнце клонилось к западу. Все приняло свой прежний вид, совсем будничный, словно ничего не произошло. С плакатов смотрели одинаковые люди с одинаковыми лицами, расплывшимися в дежурных улыбках и возомнившими, будто он, Давид, не замечает их слежки. «Это еще ничего не значит, — тихо сказал он самому себе, — ничегошеньки, совсем ничего!» Еще раз свернул и подошел к своему дому. Около двери кто-то стоял.

— Где тебя носило?

— Ты… давно ждешь? — спросил Давид в ответ, стараясь скрыть раздражение. В эту страшную секунду он ее не узнал. Катя тяжело дышала, ее волосы растрепались, лицо было красное, даже краснее обычного; похоже, она бежала. Девушка бросила сигарету.

— Да уж порядочно. Ну и видок. Что-то случилось?

Он пожал плечами:

— Нет! Нет, а что? Пройдемся?

Рядом с ними тянулась бесконечная стена домов, которую сменили их собственные отражения в витринах. Отражения узколицей брюнетки, прогуливающейся с упитанным господином на фоне радиоприемников, журналов, обуви и снова

на фоне радиоприемников. Издалека долетали завывания пожарных сирен.

— Ты мне не веришь?

— Верю, что ты думаешь, будто сделал открытие, — ответила она.

Он усмехнулся:

— Э-э, как загнула.

— А не может ли быть, что это только тебе все кажется правильным, а на самом деле какая-нибудь ошибка…

— Нет, — отрезал Давид.

Они замолчали. Крыши отсвечивали красным, солнце уже готовилось закатиться.

— Речь идет о времени?

— Не совсем. О его направлении. Понимаешь, прежде всегда что-то упускали. Упускали самое главное.

На волне вечерней зари показалась одинокая ворона: отлетела в сторонку, каркнула и устроилась на перекладине телеантенны.

— Хочешь, пойдем туда?

Катя проследила за его взглядом и увидела, что они стояли перед кинотеатром. На афишах позировали всякие знаменитости. Предложение ошарашило девушку, и она согласилась.

Фильм был о бандитах, перебивших друг друга;

в полупустом зале пахло маслом и попкорном. Главный герой бежал по улице, а потом скрылся в подъезде какого-то дома; один тип гнался за ним, так как он обладал тем, чем не следовало обладать, или знал то, чего не следовало знать. В момент их стычки улица почти опустела. Лица, показанные крупным планом, разрослись до нескольких метров. Давид зажмурился. Снова почувствовал запах гари, а может, это просто разыгралось воображение.

Охваченные вспышками света краски смешивались, расплывались, рассеивались по залу, прямиком устремляясь к нему, к Давиду. И вдруг, когда герой уже навел на врага свой серебристый пистолет, прищурил глаз и прицелился, вот-вот собираясь выстрелить, — и выстрел действительно раздался-таки, хлопок ураганом пронесся по рядам, — в эту секунду Давид почувствовал движение. Что-то подступало. Неуклонно приближалось к цели; и это было… Давид чуть не вскрикнул.

Когда они выходили из кино, уже смеркалось. Фонари и витрины, фары и освещенные окна отбрасывали на улицу желтоватый глянцевый свет. Между крышами выглядывало темное небо.

— Что случилось? — спросила Катя. — Что-ни-

будь болит?

Давид покосился на девушку, в какой-то момент он был почти готов раскрыть ей свои объятия и притянуть к себе; но потом стало ясно, что он не сделает этого: ни сейчас, ни позже, вообще никогда. Он отступил назад и бросил беспомощный взгляд на *спутницу*. За спиной послышалось бормотание; Давид с облегчением вздохнул: предлог показался вполне благовидным, и он позволил себе отвернуться.

На тротуаре, прислонившись к стене, сидел старик с длиннющей засаленной бородой и с бутылкой в руке. Опустившийся и грязный, он быстро шевелил губами, словно обращался к самому себе или к невидимому собеседнику. Потом поднес ко рту бутылку. Отпил, поставил в сторону, простонал и снова что-то забормотал. Давид отвел взгляд.

В луже поблескивало отражение самолета: его выдавало треугольное расположение огней. Давид вытянул ногу и носком ботинка слегка коснулся воды. Самолет увеличился, расплылся, а потом исчез. Давид запрокинул голову, думая найти его в небе. Но там его не оказалось. Как внимательно он ни всматривался, самолет оставался невидимым.

III

Гравий скрипел под ногами. Легкий туман повис в воздухе, окрашивая его в серый цвет. На небе одна за другой зажигались звезды. Давид опустился на скамейку в парке. Через некоторое время заметил, что рядом на покрытой лаком деревяшке спит стрекоза. Фонарь в мельчайших подробностях освещал изящную сеточку на ее неподвижных крыльях.

«Старая истина, — подумал Давид. — В природе нет пустоты. Старейшая истина. Ни одного шва, ни единой трещинки. На этом все зиждется. И это каждому известно.

Ну а если все же… Если они есть? Эти швы и трещинки, зияющие отверстия в ткани природы, если все же ткань дырявая? Мир выстроен по законам, без них мы затерялись бы в хаосе и во мраке…»

Теперь звезд прибавилось. Незаметно наступила ночь. Огни с земли и далекие-предалекие светила в небе сливались, умножаясь числом своим вдвое, на черном фасаде единственного в городе высотного здания.

«А если я нашел ошибку? Не случится ли, что

меня… Не должен ли кто-нибудь меня…»

И с какой стати он тут рассиживал, почему не дома? Попрощавшись с Катей час назад или больше, он побрел куда глаза глядят, мимо освещенных витрин по центральной улице, где уже почти, а может, и совсем не пахло горючим, пока не оказался здесь, в парке. Давид часто захаживал сюда, разрабатывая свою теорию. Теперь она сложилась окончательно, он нашел решение, и, таким образом, теория перестала быть чем-то отвлеченным. Давида пробрал озноб. Он огляделся по сторонам. Маленький и неуютный парк не отличался особой чистотой, обычно здесь гуляли пенсионеры и горластые дети. Но в этот час здесь было пусто и почти красиво.

Да, они существуют — очевидные прорехи. Доказательства несовершенного творения, просчетов рассеянного проектировщика, не до конца продуманного замысла, плохое исполнение которого к тому же так неумело скрывается. Давид закинул голову — сила тяжести у звезд растет, накапливается внутри до тех пор, пока они не начинают сжиматься все сильнее и сильнее, а когда их вещество пытается найти выход, происходит прорыв. Звезды кружатся в пространстве, изменяют его, искажают вокруг себя время, вби-

рают свет и всю материю в свое математическое ничто. Правила не всегда верны. Ими можно поступиться.

Вдруг стрекоза вспорхнула и улетела. Да так быстро, что, находясь еще в поле зрения Давида, стала частью воспоминаний: едва уловимый шум как будто бы неподвижных крыльев. Ночь поглотила насекомое. Давид прислушался. Стояла мертвая тишина. «Ко мне, — подумал он, — непременно кто-то подсядет…»

Но ничего такого не произошло. Кругом было тихо, издалека доносились приглушенные звуки города, Давид слышал свое дыхание, через некоторое время заглушившее все остальное, тишина крепко окутала его, и он соскользнул в сон. В кромешную и мягкую темноту.

Послышались шаги. Потом они прекратились, скамейка скрипнула, и кто-то уселся рядом. Давид медленно повернул голову.

Это был старик, встретившийся им на выходе из кинотеатра. Он все еще держал в руке бутылку и распространял вокруг себя кислый запах — вполне вероятно, он жил в этом парке. Тяжело дышал, шевелил губами, не глядя на Давида.

— Простите, что вы сказали? — Ах нет, послышалось.

Старик поднес бутылку ко рту, запрокинул голову и стал пить. С каждым глотком шея его раздувалась, кадык поднимался и опускался. Потом голова поникла. Бутылка выскользнула из рук, упала на землю и разбилась на множество острых осколков. Старик тихо застонал. Задышал глубоко и часто. Его борода и волосы склеились в сосульки. Казалось, он страдал от боли.

— Могу ли я… — хотел спросить Давид, закашлялся и начал заново, — не могу ли я чем-нибудь помочь?

Но ответа не последовало. Давид, поморщившись, робко протянул руку и дотронулся до плеча соседа; куртка была черная и жесткая от грязи.

— Не могу ли я чем-нибудь помочь?

Старик уставился на него, но по-прежнему молчал. Дышал уже ровнее. Сам не зная почему, Давид наклонился и дотронулся до его лица. Оно было мокрое. Борода ворсистая и влажная. Взгляд остекленевший.

Давид провел рукой по его голове, по волосам. Дыхание успокаивалось. Он коснулся плеча и отдернул руку. Старик испустил дух.

Давид поднялся. Он не испытывал ни страха, ни ужаса, словно ожидал такого поворота событий. На горизонте засветилась бледная линия; ночь

была на исходе; время пролетело быстро-быстро, как никогда. Старик неподвижно сидел с открытыми глазами и каким-то странным выражением лица, да и само лицо казалось не настоящим, оно напоминало скорее неодушевленный предмет, вроде скамейки, фонаря или разбитой бутылки. Ветер теребил бороду покойника. По руке ползла маленькая муха. Зрелище было на редкость прекрасное. Давид отвернулся и пошел восвояси.

Наступило утро. Сколько времени провел он на скамейке? Кто может дать гарантию, что солнце всякий раз будет показываться снова, что день будет сменять ночь, а планеты — мчаться в ночи по своим неизменным орбитам?... На секунду Давиду почудилось, что он увидел знакомую стрекозу, но то оказался кусок желтой резинки от лопнувшего шарика. Дворник сметал в *кучку* бутылочные осколки, в стеклышках занимался новый день.

На багряно-красном фоне чернели антенны. Восход отражался в окнах высотки. Тени стали короче и приняли цвет каменной улицы. Заря слабела, солнце казалось бесцветным и бесформенным; и вот уже потянулись облака. Давид посмотрел на часы. Перед работой нужно обязательно зайти домой и отправить записи

Валентинову! Около трамвайной остановки он замедлил шаг.

Что-то коснулось его ноги. Что-то живое: это был нос.

Нос принадлежал овчарке. Большой ухоженной зверюге с карими и умными глазами. Давид посмотрел вниз. Пес поднял голову. На несколько секунд застыл как вкопанный. Шерсть на его затылке встала дыбом, и обнажились два ряда острых зубов. Пес отступил, из его пасти раздалось урчание, постепенно перешедшее в недобрый рев. Давид заметил, что ему ни чуточки не страшно. И шагнул навстречу.

Пес подался назад, а когда его противник сделал еще шаг, обратился в бегство. Промчался мимо толстой хозяйки с поводком в руках. Та обернулась, беспомощно посмотрела вслед, окликнула его по имени, которое Давид уже не расслышал. Женщина выронила поводок и кинулась за питомцем.

Подошел трамвай. Давид сел. Поймал на себе взгляд молодой девушки и улыбнулся, девушка тут же отвернулась. Трамвай тронулся, мягко вдавив пассажиров в кресла; сила инерции, стремление к устойчивости и постоянству — непременное свойство материи.

В вагоне пахло пылью и затхлостью. Солнце уже спряталось. Все указывало на приближение дождя.

IV

— Ну и что? — удивился Марсель. — Бродяги умирают каждый день. Несчастные случаи происходят постоянно. Ты что себе думаешь? Возомнил себя великим, да?

Давид отставил чашку в сторону.

— Это открытие может сделать каждый.

— Но ты первый?

— Вроде того.

Давид осмотрелся. В столовой сидели несколько студентов и листали учебники, наполняя зал тихим бормотанием. Давиду никак не удавалось избавиться от чувства, будто люди постоянно на него оглядываются, следят и бросают заинтересованные взгляды. Но нет, это совершенно невозможно! Пахло кофе и моющими средствами. Марсель сидел спиной к окну, с сигаретой в руке. Дым поднимался кверху, завиваясь прозрачными клубами. Свет очерчивал контуры друга, превращая его лицо в темное овальное пятно.

— Сегодня утром я отправил записи Валентинову.

— Кому?

— Нобелевскому лауреату.

— Не знаю такого.

— Думаю, мне нужно самому к нему поехать, — сказал Давид.

— Тоже метишь на Нобелевку?

— Мои записи гораздо важнее.

— Ты уже неоднократно повторял это. Но не лучше ли сначала подождать, а потом…

— Катя сказала то же самое.

— Катя? — Марсель ухмыльнулся. — Кстати, что между вами? Вы наконец-то?…

— О господи! — воскликнул Давид. — Перестань молоть ерунду! Тебе объяснить или нет? Речь идет о Втором начале термодинамики. О законе времени. В любой замкнутой системе беспорядок или растет, или остается неизменным. Отсюда следует, что бардак на письменном столе возникает сам собой, но никогда сам собой не устраняется. Что газ рассеивается просто так, но никогда просто так не сгущается. Что Вселенная расширяется и охлаждается. Что нельзя построить вечный двигатель. Все во Вселенной развивается циклически — все, кроме одного. Второе начало объясняет направление всех происходящих на земле процессов. Это закон времени.

— Не понимаю, — сказал Марсель и протянул

Давиду пачку сигарет.

— Нет, благодарю, мне нельзя. Вот смотри: теплое тело охлаждается само по себе. Но если хочешь его нагреть, требуется приток энергии извне. Другого способа нет. Чтобы навести порядок, нужна энергия, хаос же возникает сам собой; и в системе, как целом, нарастает беспорядок. Так гласит закон. Так он раньше гласил.

— А теперь нет?

— Видимо, нет. В известных условиях, при определенном излучении и применении четырех формул все может быть наоборот.

— Тогда теплые тела в твоей лаборатории будут самонагреваться, порядок на письменных столах самонаводиться, приборы заработают без остановки и…

— …и без сбоев.

— Но тогда наступит конец света.

— Не совсем, но мир изрядно изменится.

Марсель зажмурился, потом открыл глаза и посмотрел на Давида.

— Продолжай!

— Для этого нужно несколько компонентов. Большое количество энергии, а ее способен выделять даже простенький реактор. Что-то вроде циклотрона. Мои четыре формулы… Поначалу

результаты будут очень скромными. Как ты сказал: на одну лабораторию. Но впоследствии все пошло бы по прогрессирующей. Началось бы самопроизвольное развитие. Набирающее все большие обороты. Время бы… Это трудно описать… Время бы исчезло. Я могу объяснить это только математически.

Давид посмотрел на Марселя какими-то бесцветными глазами; тот непроизвольно отвел взгляд.

— Отменить Второе начало. Ты представляешь, что это может означать?

Где-то упал стакан и разбился, звук показался Давиду невероятно искаженным.

— Не хочу тебя обидеть, Давид, но все, о чем ты здесь говоришь, звучит довольно странно. Помнится, еще в школе тебя называли гением, а в четырнадцать лет ты изобрел этот чертов транзистор…

— Конденсатор…

— …Прекрасно, конденсатор, а как ты мне тогда в тунисской пустыне выдал, сколько на небе звезд, — ты же едва взглянул на него, старый трюк… Но вот это, теперь, по-моему, уже слишком! Даже для тебя.

Давид улыбнулся и заглянул в чашку. Черная

жижа и коричневатая молочная слизь так и не перемешались, и он увидел дрожащее отражение своего лица. Осторожно взял чашку и отпил.

— Ну хорошо, — заключил Марсель. — В таком случае желаю тебе удачи! Во всем этом я все равно ничегошеньки не смыслю, я же тупой чинуха, который сидит в своем кабинете в ратуше. — Рука Марселя нервно дернулась, пепел отделился от сигареты и упал на стол, образовав между чашками серую горку. — Но советую тебе остерегаться, когда будешь говорить об этом! Честное слово, будь осторожен.

Марсель отодвинул стул и потушил сигарету. Потом наклонился вперед, облокотился обеими руками о стол и опустил голову.

— Тебе же хорошо известно, что в каждом университете мира, и этот не исключение, есть шкаф, где хранятся рукописи всяких сумасшедших, опровергающих теорию относительности или с великой теорией единства…

— Теорией великого объединения.

— Пусть так… другие выдумывают теорию великого объединения типов взаимодействий или еще какую-нибудь бредятину! Понимаешь?

— Да, — ответил Давид, — конечно. Получше тебя.

— Вот и славно. Мне нужно в контору. Я и так уже опоздал. Завтра мы подробнее…

Последние слова Марсель произнес уже на ходу. Кивнул Давиду, двустворчатые двери раскрылись и снова закрылись. Чашка с кофе так и осталась нетронутой.

Давид перевел взгляд на пепельницу. От недобитой сигареты еще поднимался вверх дымок: одинокая серая ниточка, словно проведенная карандашом линия на белом фоне окна. Давид подул, и через секунду ниточка искривилась, конец ее свернулся бесцветным клубком, медленно растворившимся в воздухе. Ниточка опять выпрямилась и неподвижно повисла. Бледнея, она постепенно угасла.

Еще утром Давид поинтересовался, когда принимает профессор Граувальд, чем немало удивил даже фрау Виммер: по собственному желанию к Граувальду никто не ходил. Давиду назначили аудиенцию. Сегодня в двенадцать. Значит, через час.

Он допил кофе, почувствовал легкое головокружение, встал и направился к выходу. Кто-то крикнул: «Привет!» Не будучи уверенным, что обращались к нему, Давид на всякий случай кивнул.

В коридоре он растерялся. Тот казался много длиннее обычного, четыре ребра стремительно сходились, перспектива едва заметно изменилась.

— Это ничего не значит! — тихо произнес Давид. Двое мужчин с портфелями в удивлении на него покосились.

— Нельзя волноваться. Очень важно сохранять спокойствие. Это понятно! — продолжал рассуждать Давид.

— Что вы сказали? — Фрау Эркель, преподаватель социологии, остановилась и посмотрела на него с подозрением.

— Простите?

— Я вас не поняла. О чем вы?

Давид отвернулся и побежал вверх по лестнице, звук его шагов глухо разносился по зданию, ступеньки потихоньку двигались навстречу, перила отвечали на прикосновение; на каждом этаже в окнах мелькало его собственное отражение, будто стоявшее на карауле. И вот долгожданный выход, дверь в кабинет.

— Все в порядке? — спросил Мор. — У тебя такой вид, словно ты всю ночь гулял.

Мор сидел, сцепив пальцы на затылке и положив ноги на стол. Давид, тяжело переводя

дыхание, опустился на стул и осуждающе посмотрел на ботинки коллеги.

— Я провел ночь на скамейке в парке.

— Очень трогательно! — Мор поймал на себе взгляд Давида. — Извини! — Кряхтя, опустил ноги. — Сегодня было не просто сюда добраться, а? Тем более что главная улица перекрыта.

Давид взял листок бумаги и принялся рисовать фигуру в четырех плоскостях, попарно перекрещивающихся и образующих две прямые.

— Почему перекрыта?

— Автоцистерна попала в аварию.

Давид на секунду прервал свое занятие. Потом вернулся к рисунку. Две прямые пересеклись в одной точке, что означало переход двух измерений в одно, безразмерное пространство.

— Ты не смотрел новости? Впервые за много лет нас показывали по телевизору. Вчера после обеда перевернулась автоцистерна, все вытекло. Грунтовые воды заражены, теперь нужно прочищать канализацию. Горючее воспламенилось, водитель получил тяжелые ожоги. Он пока жив, но протянет, очевидно, недолго. Кроме него еще пятеро пострадавших. Я живу неподалеку! Ты ведь тоже, или?... Ты действительно ничего не заметил?

— Нет, — ответил Давид, — правда, ничего.

Он взял листок, скомкал его и бросил в мусорную корзину, но промахнулся. Мор захихикал. Бумажный шарик покатился по полу, стукнулся о стену и с шорохом развернулся.

— Вчера я прочитал за тебя вводную лекцию. Ты мой должник!

Давид не ответил.

— Ведь на самом деле ты не был болен?

Давид посмотрел на него:

— С чего ты взял?

— Не знаю, — ответил Мор, — просто подумал! Да, так о той аварии… Причины не выяснены. Кажется, водитель заснул, наркотики или вроде того… Во всяком случае, он утверждает, будто видел что-то в воздухе прямо перед машиной. Нечто удивительное; но наотрез отказывается описывать. У тебя что-нибудь болит? Батюшки мои, да что случилось?

Давид встал. Карандаш покатился по столу, достиг края и упал. Давид глазами следил за ним, но неожиданно потерял из виду, карандаш не долетел до пола; его вообще нигде не было.

Он сел. Стул под ним затрещал. Давид посмотрел на часы, четверть двенадцатого. Дома ему не хватило времени даже переодеться. Он в такой

спешке засунул записи в конверт, что даже не сделал копий, да и к чему, собственно, ведь он все знает наизусть и никогда не забудет; потом вызвал посыльного, заполнил головоломный бланк и отправил конверт Борису Валентинову в университет. Это было очень дорого, зато очень быстро. К своему удивлению, он даже успел на трамвай, каждый день доставлявший его на работу. Потом встретился с Марселем, как и условились накануне.

Тут Давид заметил, что Мор, прищурившись, смотрит на него слишком серьезно. Это настораживало. Давид протер глаза и, сделав над собой усилие, улыбнулся.

— Что? — воскликнул он, может быть, слишком громко. — Ах да, нет. Нет! У меня ничего не болит. С чего вдруг?

V

— Я не опоздал?

— Опоздали. Присаживайтесь.

Профессор Граувальд сидел, как обычно, за письменным столом. Давид подумал, что, пожалуй, только в таком положении его и видел. Седые, как всегда нерасчесанные волосы стояли торчком и на фоне окна казались очень тонкими и прозрачными. Лицо напоминало картошку: круглые щеки, мясистый нос, крохотные, глубоко посаженные глазки и стеклянный взгляд. К этому прилагался черный костюм и широкий багровый галстук. За Граувальдом высился стеллаж с книгами в кожаных переплетах и с золотым тиснением на корешках; полное собрание «Граней физики». Дождь, не утихая, барабанил по стеклу, подтверждая неизменность настоящего.

— Если речь идет об исследовательском проекте, господин Малер, то на следующий год все средства уже…

— Нет, — перебил Давид, — речь о другом. Я хотел бы вам кое-что изложить.

— Вы же знаете, что личные просьбы…

— Это теория.

— Простите, как вы сказали?

— Теория. Я бы с удовольствием опубликовал ее в «Гранях». Но надо поторопиться.

Граувальд наморщил лоб.

— Следующие пять номеров уже расписаны. Да и остальные, я не думаю…

— Именно поэтому я хочу вам все объяснить. Мне кажется, вы найдете это достаточно важным. Мою теорию нужно обнародовать, понимаете, я не могу быть единственным, кому она известна, иначе… Пожалуйста, выслушайте меня!

Несколько мгновений Граувальд испытующе разглядывал Давида, потом кивнул, посмотрел на часы и протер глаза.

— Ну хорошо. Прошу вас. О чем речь.

Давид занервничал, руки его задрожали. Он перевел взгляд на свои широкие волосатые ладони с короткими пальчиками. Немного успокоился. Поправил очки.

Поначалу голос сипел, и пришлось несколько раз откашляться. Давид достал блокнот, открыл и принялся чертить. Похожие на каракули наброски, некоторые не получались, тогда листы вырывались, комкались и летели в сторону мусорной корзины. Потом отказалась писать ручка, Давид схватил со стола Граувальда другую. На

стеллажах слабо вспыхивали названия книг. Там стояли две фотографии: на одной улыбающийся Граувальд за кафедрой держал грамоту, на другой он же пожимал руку Борису Валентинову. Но сейчас профессор неподвижно сидел здесь, подперев голову кулаками. Во рту у Давида пересохло; он бы с удовольствием попросил стакан воды. Ручка выскользнула из пальцев, упала на пол и покатилась. Он с трудом подавил желание нагнуться за ней и взял новую. Граувальд тихо посапывал, еще один листок был разорван, смят и отброшен. Давид перестал прислушиваться к своему голосу. Он почти забыл, что вообще говорил.

Мысли путались, ускользали, их никак не удавалось собрать; вместе с тем собственный голос долетал до слуха Давида, значит, рассуждения уводили его все дальше и дальше. И вдруг его охватило чувство нереальности происходящего, даже голова закружилась; и почудилось, что когда-то он уже сидел здесь или, по меньшей мере, уже видел себя сидящим здесь, что точно такая сцена уже проигрывалась и что вот-вот выяснится, когда это было, еще немного… Но картинка смешалась с другими, более ранними; существовавшая между ними связь казалась столь очевидной и закономерной и вот только

сейчас по непонятным причинам не хотела обнажаться… Давид почувствовал, как его подхватили и вознесли наверх, все длилось несколько долгих секунд, пока память не восстановила картинку из прошлого.

Летний день давно прошедшего, неизвестно какого года, возможно, самое первое лето Давида. Мать на руках поднимает его вверх и передает отцу, потом его берет сестра — малыша держат по очереди. Сад, где все происходит, стерся из памяти — это лишь фон, а не часть воспоминаний. Сестра что-то говорит, Давид чувствует ее тепло — с тех самых пор он всегда вздрагивает, заслышав запах солнцезащитного крема. Малыш жмурится, пчелы низко жужжат, все расплывается в ярком свете.

О сестре сохранилось только это единственное воспоминание. Вскоре она пропала. Давид не видел как, хотя находился поблизости. Сидел в траве, на синем покрывале. За синий цвет он мог ручаться.

Тогда он как будто слышал крики. А может, это воображение со временем внесло несуществовавшие подробности. Сестра, как выяснилось позже, не кричала. Вопли могли принадлежать и очевидцам. Но настоящие или вымышленные,

они отпечатались в памяти почему-то на синем фоне. Стрекоза балансировала на стебле травы, раскачиваясь туда-сюда, вверх и вниз. Потом взмахнула крылышками, вспорхнула и улетела. Словно занавес упал за сестрой, оставив по другую сторону яркий свет, аромат и пчелиный гул. Кто-то поднял Давида и быстро унес, и только много дней спустя мать рассказала ему приукрашенную и неправдоподобную версию того, что произошло.

VI

Правда выяснилась много позже и была не для детских ушей. Виной всему оказалась уборочная машина, огромная и желтая, начиненная вращающимися щетками и завывающим вытяжным устройством, и, судя по всему, — что произошло в точности, никто не знал — одна из щеток осторожно зацепила сестру и, приятно щекоча, потянула за собой (женщина, которая все видела, клялась, будто та улыбалась, исчезая в жерле машины), а когда дышать вдруг стало нечем и среди сплошной пыли и грохота исчезла всякая надежда на спасение, толстенная труба равнодушно проглотила девочку. На несколько секунд рычание мотора изменилось, словно он поперхнулся, но, справившись с помехой, затарахтел по-прежнему, как будто ничего не случилось. Только истошные крики людей заставили водителя заглушить двигатель, а когда контейнер опустили на землю и открыли, то в море желтых лепестков нашли голову, которая больше не принадлежала телу, и кроткое выражение лица на этой голове привело всех в замешательство.

Давид знал это лицо. В мельчайших подробно-

стях. До сегодняшнего дня именно этот образ сестры являлся ему во сне. Являлся всегда совершенно отчетливо; сестра говорила с ним, посвящала в дела, очевидно, важные, суть которых, проснувшись, он тщетно пытался вспомнить, вынести на дневной свет, в сферу бодрствующего сознания. Каждый раз он видел только лицо, неестественно криво повернутую голову и шрам вокруг шеи. Словно после смерти людям доставались в нагрузку и их покалеченные тела, к которым приходилось как-то приспосабливаться.

Давид был необычным ребенком. Всякий раз, когда его приглашали на день рождения, где царили веселье и разноцветные конфетти, он слишком налегал на сладкое, хотя прекрасно знал (а иногда попросту забывал) о том, что полная мучений ночь ему обеспечена. Давид считал, что люди в телевизоре и даже куклы в детских передачах смотрят прямо на него, обращаются только к нему одному, к Давиду, по-настоящему на него сердятся и пугают. И никто не мог его переубедить. В четыре года он построил из кубиков арку высотой около метра, сложив ее так, что кубики поддерживали друг друга по закону противодействия. Таким образом, еще не научившись говорить целыми предложениями,

он открыл принцип замкового камня.

Вторую половину дня, после уроков, Давид сидел дома один. Отец работал, и мальчику так не хватало живой сестры или брата, которые бы тайком следили за ним днем и ночью из своего невидимого укрытия. Постепенно после долгих наблюдений Давид пришел к выводу, что все углы, вписанные в окружность и опирающиеся на диаметр, прямые. Такие треугольники непонятно почему казались прекраснее и совершеннее всех остальных. Давид также заметил, что камни всегда летят вниз, к земле, правда, это еще требовало доказательства. Ведь «вниз» было просто словом, обозначавшим направление, в котором падают камни; иногда казалось более естественным, если бы они летели в обратном направлении, в сторону голубого и все притягивающего яркого света; Давид знал, как добиться ощущения, будто висишь над пропастью: надо только наклониться и посмотреть в пространство; на собственном опыте он убедился, что из порезанного пальца, ладони или руки кровь идет только восемь минут. Потом образуется корочка, и боль сменяется почти приятным зудом.

Каждую ночь он засыпал с невероятным трудом. Он лежал совсем один в темной комнате

с белесыми прожилками, где тени начинали двигаться, стоило только отвести от них взгляд. Проходила целая вечность, начиненная различными звуками, шорохами и потрескиваниями на книжных полках и под кроватью, прежде чем наступал сон. И тут Давид оказывался один на один с существом (ко всему прочему они приходились друг другу родственниками), в чьих пустых глазницах скрывалась бездонная чернота, заставлявшая учащенно биться сердце, мальчик вздрагивал в испуге и просыпался. На крик являлась рассерженная и вечно хотевшая спать мамка: от нее пахло кремом. Теперь она сильно изменилась. Да и отец тоже не тот.

Случайно выяснилось, что Давиду легко дается счет. Ему нравились числа, он легко управлялся с ними, сам не понимая как, чувствовал себя среди них в своей стихии. Как-то раз всей семьей они ехали на машине, и неожиданно для самого себя Давид заметил вслух, что мимо промелькнуло две тысячи четыреста тридцать семь столбов; при этом он не считал их специально или во всяком случае не помнил, чтобы считал. Дома отец пододвинул стул к сыну, сел, положил руки Давиду на колени, наклонился — у него были моржовые усы, очки и много морщин — и сказал:

— Двадцать семь умножить на шестьдесят три.

Давид сглотнул и отвел глаза.

— Тысяча семьсот один.

Отец застучал по крошечному калькулятору, на секунду остановился, кивнул и продолжил:

— Пять тысяч шестьсот девяносто три на восемьсот шестьдесят семь.

Давид закрыл глаза, увидел источающую тепло оранжевую пелену и прислушался. Пахло едой, в соседней комнате мать что-то варила, у него заныло в желудке.

— Четыре миллиона девятьсот тридцать пять тысяч… восемьсот тридцать один, — протянул он.

Отец уткнулся в калькулятор и побледнел. На его лице резко выступили скулы. Он высморкался.

— А корень из этого?

Мальчик заерзал, ему хотелось встать, но рука на коленке крепко его держала. Окно отбрасывало блики, словно свет заперли между рамами.

— Две тысячи… двадцать одна целая, пять… примерно пять десятых, — сказал Давид, пожимая плечами. Его отпустили. Наконец-то.

— Очень хорошо, — заключил отец, встал и снял очки, — но это еще ничего не значит, некото-

рые тоже так умеют, поверь мне. Да и последний ответ был не совсем верный.

— Шестьдесят семь сотых, так?

Отец утвердительно кивнул и вышел из комнаты. Из-за стены раздавались шаги, туда-сюда. Позже за обедом он ни с того ни с сего ударил кулаком по столу с такой силой, что задребезжали тарелки.

— Не ешь так много, а то растолстеешь. Хочется быть толстым? — закричал отец.

Давид в недоумении уставился на него, не понимая причины такого гнева. Потом спустился на улицу и отправился к Марселю. Соседский пес, приметив его из-за забора, зарычал. Давид пристально взглянул на него — пес попятился, зарычал громче. Пар рябью поднимался от асфальта. Друзей разделяли четырнадцать домов, двенадцать мусорных баков, восемьсот четырнадцать шагов.

Какой-то незнакомый мальчишка пристроился к Давиду и следовал за ним по пятам. Но тот не сразу заметил. Попутчик не сводил с Давида глаз.

— Брось, не советую! — сказал Давид.

Мальчик держал руки в карманах, у него были светлые волосы и желтые зубы, впереди одного

не хватало, рядом тянулась узкая и темная тень.

— Чего?

— Лучше не делай этого. Ты, конечно, не понял, о чем я? Но скоро поймешь.

Парень вынул правую руку из кармана, задумчиво посмотрел на нее, ухмыльнулся, замахнулся и отвесил Давиду подзатыльник, да такой силы, что у того искры из глаз посыпались, он потерял равновесие, почувствовал, как ударился лбом о мостовую, и все померкло… Когда он встал и осмотрелся, незнакомец уже исчез. Мама Марселя угостила пострадавшего пирогом и заклеила лоб пластырем. Давид умял чересчур большой кусок, и ночью ему сделалось плохо, дважды даже стошнило, но, к слову сказать, после наступило облегчение.

В школе он сидел с Сюзанной Ёблих. Трудно поверить, но, честное слово, ее звали именно так. По весне голые руки девушки были еще совсем белые, зато летом на них появлялся загар, а когда утром солнце светило наискосок в окно, желтоватый пушок на ее руках казался золотым. Три родинки. Маленький нос и раскосые глаза. Давид нарочно отбирал у Сюзанны карандаш: та тянулась за ним и касалась его рукой… Учительница не любила Давида. За его полноту и за то, что в

свои девять лет он считал лучше нее и вообще лучше всех. С этим, правда, еще можно было смириться, на худой конец даже с тем, что он читал книги не по возрасту, вроде «Текстуры физического мира» Бориса Валентинова. Но признать в нем хорошего футболиста для математички казалось уже слишком. Одаренные дети не должны играть в футбол. Так гласило общее правило.

Однажды Давид стоял на воротах. Подавшись вперед и уперев руки в колени, он ждал. Игроки бегали на другом конце поля, ветер шевелил травинки и доносил отдельные крики, вдруг в его голове мелькнула формула, которую он искал вот уже несколько дней. Давид не столько увидел ее, сколько почувствовал; наконец формула прояснилась. Но приближались они.

Их фигуры росли, становясь все больше и больше, рос и мяч, прыгая белым пятном от одного к другому и описывая на траве сложную траекторию. Игроки на бегу кричали, но Давид ничего не слышал. Вытянув руки, он изготовился к прыжку, еще через секунду мяч зигзагом пролетел мимо последнего защитника и устремился прямо на него. Давид почувствовал, как земля ушла из-под ног. Он летел, и мяч летел — два сгустка энергии двигались навстречу друг другу, какую-то долю

секунды казалось, что закон силы тяжести не действует на них. Удар по ладоням, и Давид уже лежал на земле, прижимая мяч к груди, руки зудели от боли, но среди криков и резкого запаха травы он испытал мгновение истинного счастья.

— Господин Малер, ваш сын… не знаю, как бы это сказать. Мне очень жаль, но, похоже, он… гений, — сквозь зубы сообщила учительница.

— Увы, мне это известно, — признался отец, откашлялся и с досадой подтянул галстук. — Но поверьте, мы его не так воспитывали… Мы хотели нормального… Мы хотели…

— Знаю, знаю, — посочувствовала учительница.

В тот же день Давиду удалось поцеловать Сюзанну Ёблих. Они возвращались из школы домой: он шагал рядом с ней, еще грязный после футбола. Через дымку облаков проглядывало солнце, пчелиный гул примешивался к доносившемуся с автобана шуму. Давид остановился, схватил Сюзанну за руку, притянул к себе и впился губами в ее… лицо; их губы не встретились, и он почувствовал только теплую, немного соленую щеку. Через секунду, которая, казалось, длилась целую вечность и была самой длинной в его жизни, Сюзанна оттолкнула его и убежала. Ее босоножки

шлепали по мостовой, загорелые руки сверкали. Давид смотрел ей вслед, а потом побрел домой. Дома он тяжело опустился на стул и некоторое время тупо таращился в окно.

Потом взял листок бумаги и нарисовал чертеж конденсатора. В ту ночь он заснул сразу и впервые за долгое время не видел кошмаров.

— Знаешь, что, собственно, никакого времени существовать не может? — спросил он как-то Марселя.

Друг только замотал головой; Давид попробовал объяснить: прошлого нет, так как оно уже прошло; будущего тоже нет, так как оно еще не наступило, а настоящее не имеет протяженности. А как может существовать то, что не имеет протяженности! Так где же время, если нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего? Ну, скажи мне?

— Понятия не имею, — ответил Марсель, — но здесь кроется какой-то подвох.

— Почему?

— Да потому, что оно все равно есть. Можешь разглагольствовать сколько угодно, но оно все равно *есть!* Это все мистификация!

Каждый день после обеда Давид корпел над конденсатором большой мощности, но без поте-

ри разряда, и постепенно уверенность в том, что он будет работать, крепла. Непонятно по какой причине, но конденсатор прочно и навсегда связался с образом Сюзанны Ёблих, с неудачным поцелуем на полпути к дому, а также с другой более поздней историей, всякий раз воскресавшей в памяти. Эти происшедшие в разные годы события по чистой случайности слились в одно. Девушку из другого воспоминания звали Мария.

Мария Мюллер, от ее фамилии уже тогда не хотелось думать. Был вечер, они решили прогуляться. Пройдя через рощу с покосившимися и сбросившими листву деревьями, вышли на поляну. Давид знал, что поблизости есть фабрика, отравлявшая светлую зелень его первых воспоминаний; все вокруг медленно и незаметно умирало химической смертью. Под предлогом того, что устали, они легли на землю. Свежескошенная трава оказалась жесткой и колючей. В сумерках четко вырисовывались глаза Марии. Она улыбнулась и принялась расстегивать его рубашку, он стал ласкать ее, стараясь не обращать внимания на шум в ушах, рябь перед глазами и отчаянное биение сердца, нашел ее грудь, очень белую и гладкую (и еще подумал: только бы в обморок не упасть!), Мария притянула его к себе,

в траве ползали муравьи и валялась сплющенная банка, ремень ослаб, и поляна стала подниматься все выше и выше, он чувствовал, как они все крепче прижимаются друг к другу; и ее белоснежная грудь, ее глаза и колючая трава, муравьи и ее глаза, а потом поляна опустилась и оказалась на прежнем месте, откуда-то появилась бездомная такса и стала их обнюхивать, но она опоздала, все уже кончилось.

Вскоре Мария рассталась с ним, и это было нисколько не удивительно. В тот же самый вечер, когда они возвращались с прогулки, она положила голову к нему на плечо (ее волосы все еще пахли землей), посмотрела на небо и сказала так протяжно и на редкость притворно:

— Сколько звезд! Никто не может их сосчитать!

— Отчего же, — возразил он, — итак, сегодня… — он запрокинул голову и увидел только несколько рассеянных светящихся точек, — …даже пятисот не наберется.

И хотя девушка ничего не ответила и только убрала голову с его плеча, он уточнил:

— Четыреста семьдесят три. Нет, семьдесят две, то был самолет!

Этого она ему не простила.

Вскоре умер отец. Совершенно неожиданно от какой-то болезни с мудреным названием, которая почти не поддавалась распознаванию: никаких болей, но всегда смертельный исход. Давид заметил, что он ни чуточки не расстроился. Просто был озадачен.

Озадачен еще на похоронах. Стояло лето, и пчелы на кладбище жужжали особенно звонко. Приглядевшись, можно было увидеть их, маленькие золотистые точки над могилами. Детский хор пел громко и фальшиво. Давид поднес левую руку к виску и вдруг услышал тиканье часов, тихий ход секунд, услышал, как они зарождаются и исчезают, растворяясь в пустоте. Священник ковырялся в зубах, думая, что на него никто не смотрит. Потом хорал закончился, и осталось только гудение пчел.

Ему в голову пришла одна идея. Но как таковая обозначилась не сразу, сначала в виде простого вопроса. Или, скорее, подозрения или предчувствия; Давид и сам еще толком не знал. Домой он шел молча, с закрытыми глазами, и этого никто не заметил. Он пропустил в школе целую неделю, занимаясь тем, что записывал сверху вниз, аккуратными длинными колонками цифры.

Страхи о том, что теперь и отец будет являться

во сне, не оправдались. Как и прежде, его навещала только сестра. Давид спрашивал, сестра отвечала, не сводя с него безжизненных глаз; проснувшись, он не мог вспомнить ни вопросов, ни ответов, и только ее голос еще звучал иногда в ушах. В конце недели было заполнено сто сорок страниц, и стало ясно, что дело намного сложнее и потребует гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Поэтому он сложил листы в папку, запер ее в ящике и решил обо всем забыть.

Несмотря на свой вес и очки, которые ему с некоторых пор прописали (без них он чувствовал в глазах легкое болезненное покалывание, и предметы расплывались от яркого света и слез), Давид по-прежнему оставался лучшим вратарем школы. По-прежнему предугадывал направление полета мяча, и накрытое облаками поле с завывающим ветром и криками по-прежнему в нужный момент превращалось в геометрическое пространство, мяч и его собственное тело — в точки этого пространства, а траектории их движения — в соразмерные кривые, стремящиеся к точке пересечения; и только столкновение возвращало все на свои места: трибуны, люди, запахи, звуки, все твердые тела вносились обратно в опустошенный мир.

— Малер, — сказал однажды тренер, — если не похудеешь, в следующем году я не возьму тебя в команду.

— Почему? — спросил Давид. — Я же могу…

— Или ты похудеешь, или вылетишь. Будь ты хоть трижды гений. Мне плевать!

Одним словом, теперь пришлось питаться хлебцами и пить больше молока. Днем урчание в животе не прекращалось, и Давид не знал, что было хуже: болезненная пустота внутри или страх, что другие услышат неприятные раскаты, подавить которые он был не в силах. Давид всегда засыпал с трудом, теперь же это казалось совершенно невозможным. Подушка постоянно лежала неудобно, Давид ворочался с боку на бок, и голод удерживал его в светло-серых сумерках спальни; даже деление миллиардов не помогало. Он вытерпел три недели, и на этом все кончилось.

— Хорошо, — сказала мама, — как-нибудь переживем! Ты останешься толстым. Навсегда. Это не самое страшное!

Теперь она работала в какой-то унылой конторе, надолго уходила по вечерам, слишком сильно красилась и уже готовилась выскочить замуж за большого бледного человека по имени Вёбелинг.

Давид ничего не имел против, он редко виделся с матерью, говорить им друг с другом, по сути, было не о чем. Не рассказывать же ей о своих ночных беседах с сестрой. Давид вспоминал, как раньше она подходила к его кровати, когда он просыпался от кошмаров, как пахло от нее кремом и как иногда она старательно и фальшиво пела, чтобы его успокоить. Вспоминал, как однажды сидел у нее на руках, потом у отца, а потом у сестры. Теперь осталась одна мать.

На следующие каникулы семья Марселя взяла его с собой на побережье. Тогда Давид впервые увидел море. Голубую и бесконечную плоскость, закруглявшуюся книзу. Эту кривизну подтверждал каждый корабль на горизонте, исчезая из поля зрения не сразу, а постепенно: сначала нос, а вслед за ним — труба. Низкое гудение ветра заглушало все прочие звуки на пляже.

Давид стоял и не шевелился. Краб, словно маленькая машинка, ощупывал его большой палец. Вода омывала ноги; он сделал шаг, потом еще один, вода поднялась до самых колен. Ярко светило солнце.

Давид слышал равномерное хлюпанье морского прибоя. Видел отбрасываемые волнами блики света. Затягивающуюся у ног ямку. Снял очки

и почувствовал на глазах слезы. Только через некоторое время корабли, линия горизонта и кружащие вдалеке чайки приняли свои прежние очертания.

Теперь он знал, что нужно делать дальше. Достать из ящика папку и возобновить расчеты, довести их до конца, какими бы сложными они ни оказались и сколько бы времени на это ни потребовалось. Он повернулся и шаг за шагом побрел обратно на пляж, стараясь разорвать пелену охватившего его оцепенения. Навстречу шорохам, разговорам и прочему шуму. Он с удовольствием бы выбрал другое направление. Пошел бы просто прямо, все дальше и дальше. Но это было невозможно.

Утром следующего дня он очнулся, разбуженный очередным кошмаром, хлестнувшим его словно плеткой. Снова сестра. На дороге, идущей вдоль озера, среди странно искривленных гор. Она показала на цветок, потом сорвала его и протянула Давиду: яркий цветок с длинными сухими листьями, которые как живые обвили его руку. Давид тяжело дышал, он весь взмок, страх постепенно отпускал его. Он сел в кровати, сделал глубокий вдох и посмотрел вниз. По белому одеялу ползла муха. В руке он держал цветок.

Давид закричал, он кричал так, словно был обречен кричать вечно, от этого крика пространство взорвалось, и он опять проснулся в той же самой комнате. Море отбрасывало на стенах прозрачно-синие блики. В маленькой вазе стояли почти увядшие гвоздики. На ночном столике — пустой стакан, рядом — новая книга Валентинова «Правила и вычисления». Руки Давида были пусты, постель разворочена, подушка выглядела так, будто по ней долго колотили. Давид дрожал всем телом. Теперь все казалось предельно ясным: это было предупреждение.

После каникул тренер выставил его из команды. Теперь появилось больше времени для работы. Давид испещрял числами страницу за страницей, выводил черными чернилами тонкие значки. В школе он успевал; совершенно неожиданно за конденсатор ему присудили Молодежную премию в области естествознания. Церемонию вручения в Женеве показывали в вечерних новостях, и в течение нескольких секунд можно было видеть, как Давид на плохом французском читает благодарственную речь по дрожавшей в руках бумажке. Переданный ему кубок имел форму продолговатого четырехкрылого насекомого; Давид спрятал его в шкаф и больше

никогда оттуда не доставал. А на дверцу шкафа приклеил картинку, вырезанную из журнала: Борис Валентинов во фраке, в легком поклоне, в руке бархатистая папка синего цвета, перед ним — скучающая улыбка шведского короля.

Однажды на спортплощадке, где его место было теперь только среди зрителей, какой-то широкоплечий парень отвесил шуточку по поводу его выступления по телевизору. Давид хладнокровно посмотрел на обидчика и решил, что, к сожалению, это сделать придется. Мысленно зафиксировал нос противника, отметив самый центр, сжал кулак, поднял руку, прицелился и ударил прямо в точку. Было ужасно больно. К его удивлению — ничего не произошло. Парень по-прежнему стоял на месте и все еще лыбился, только улыбка его застыла… а потом медленно начала спадать. Давид ударил еще раз, под тем же углом, в ту же точку. Парень сделал шаг назад, две тонкие струйки крови показались у него под носом и потекли по губам к подбородку, где соединились в круглую, набухающую каплю. «Может, дать деру», — подумал Давид. Но парень повернулся, сплюнул на землю что-то красное и поплелся прочь, еле волоча ноги и прикладывая к лицу разом покрасневший платок. Рука нестер-

пимо болела. Мать отправила Давида к врачу: никакого перелома, но дезинфицирующий укол ему таки сделали. Это было унизительно, бессмысленно и в высшей степени неприятно.

А потом все зашло слишком далеко: Давид выдержал выпускные экзамены, получил отлично, дал Марселю списать. Университеты, среди которых оказались даже американские и английские, забросали его, «ученого и лауреата», трогательными письмами. Но прежде чем Давид принял решение, они с Марселем отправились в Африку. Нашли дешевый рейс, сели в самолет, приземлились, взяли напрокат джип и укатили в пустыню.

— Какого черта мы здесь делаем? — спросил Давид.

— Мы это делаем потому, что не сделаем больше никогда, потому что это на нас не похоже и потому что отныне можем рассказывать, что мы это сделали. Достаточно?

— Да, — ответил Давид, — вполне.

Пустыню они так и не нашли. Только спустя некоторое время сообразили, что уже давно находились в ней: никакого песка, одна красная галька. И теплый, неподвижный сухой воздух, и ничего, что привело бы его в движение; высоко

в небе парила одинокая птица, описывая неправильные круги.

— Ну и что дальше? — спросил Марсель. — Поедешь в Гарвард?

— Нет.

— А куда же?

— Никуда. Я остаюсь.

— Ты с ума сошел? — воскликнул Марсель. — Да такому, как ты, все дороги открыты, почему именно…

— Я не должен выделяться.

— Что?

— Вот смотри. Если я не буду обращать на себя внимание, если плюну на карьеру, все равно на какую, если жизнь моя, все равно где, будет ничем не примечательна…

— Что тогда?

— Тогда, — сказал Давид, — у меня, возможно, появится шанс.

Машина остановилась. Воздух вокруг них зарябил. Небо казалось очень высоким. Оттуда доносилось гудение самолета. Марсель наклонился к рулю и сбоку посмотрел на Давида.

— Ты действительно хочешь жить как человек? Или как все?

— Да, — ответил Давид. — Как человек и как

все. Поезжай дальше!

Марсель запустил двигатель. Равнина пришла в движение и поплыла сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Марсель что-то сказал.

— Что ты сказал?

— Я спросил, почему? От кого ты скрываешься?

Давид откинулся назад. Останавливая взгляд на линии горизонта или на любой удаленной точке, он испытывал ощущение полного покоя: нигде ничего не менялось, нигде, насколько хватало глаз.

— Меня дважды предупреждали.

К вечеру быстро стемнело и сильно похолодало. Потом наступила кромешная тьма, в какую они еще никогда не попадали. Звезды, по словам Давида, примерно десять тысяч, светили ярче, чем когда-либо, и оседали на небе светящимися пылинками. Давид запрокинул голову, — он дрожал от холода и чувствовал боли в затылке, — постепенно из звезд складывался рисунок, потом еще один и еще…

— Но это, — сказал Давид, — это еще ничего не значит, простая случайность. Все просто случайно. Время все сгладит.

На следующее утро он не мог дышать через нос, ко всему прочему болело горло. Марсель

беспомощно глядел в карту, цокал языком, качал головой и бормотал что-то невразумительное. Несколько часов они проплутали по жаре.

Давид чувствовал, как поднималась температура, как тепло внутри и тепло вокруг смешивались, создавая ощущение нереальности, окрашенное в оранжевые тона. «Наверное, мне все это снится», — подумал он; но когда открыл глаза, перед ним снова предстала невыносимая реальность пустыни, и осознание этой реальности болезненно сказывалось на его состоянии. Давид закрыл глаза и остался наедине с подступающей тошнотой и с числами, принимавшими все более угрожающие размеры и расползавшимися в голове. Бензин был почти на исходе, когда им повстречался автомобиль с тремя приветливыми англичанами, которые дали им горючего и до следующего города ехали впереди. Только через две недели Давид справился с воспалением легких, и они могли лететь домой.

— Возможно, ты прав, — сказал Марсель, поворачивая голову в сторону круглого окошка, за которым складывались лучезарные клубы облаков, — может, таким людям, как мы, и вправду лучше оставаться дома!

— Да, — согласился Давид, — может быть.

Он на редкость хорошо себя чувствовал. Впервые в жизни немного похудел, благодаря высокой температуре. Некоторые проблемы можно устранить, только приняв слишком нелепые, на первый взгляд даже абсурдные решения, до которых человек в здравом уме никогда бы не додумался, но которые в действительности — а все сводилось именно к ней — оказывались единственно верными. Давида охватило такое чувство, будто в течение последних двух недель, безнадежно изгладившихся из памяти, он работал не покладая рук. Будто в полном его распоряжении находились все лазейки, связи, пути, снова ставшие теперь недоступными.

— Наверное, — задумчиво протянул он, — мне следовало родиться психом.

— Вот по поводу этого могу тебя успокоить. Ты и так псих.

VII

Время неумолимо преследует нас, не так ли? Не им ли выведено правило, согласно которому смерть настигает нас так же, как и все вокруг, как каждое существо; правило, предписывающее, что Вселенная неизбежно истощается и небесные светила постепенно охлаждаются до тех пор, пока энергия в них окончательно не иссякнет. Тогда выделение тепла прекратится, не будет света, и в конце концов наступит холод, вечный холод. Еще останется пространство, но и оно рано или поздно исчезнет, так как ничто не будет его заполнять. Никаких изменений, наступит конец времени, и великий процесс разрушения завершится.

К примеру, дождь, барабанящий по стеклу за головой Граувальда (Давид показал на окно, но профессор даже не шевельнулся). Капли, похожие на стеклянные точки, расползались кругами и сливались друг с другом, пока это была чисто геометрическая игра. Но скоро — да вот прямо сейчас — на них начинала действовать сила тяжести, ветер и другие природные силы: непреходящие, никогда не иссякающие и разрушительные. Капли меняли форму, на секунду

принимали до абсурда нелепые, совершенно невообразимые очертания, а затем умирали, образуя ровную жидкую пленку на текущем — только текущем гораздо медленнее — стекле. Процесс этот постоянный: любая упорядоченная система стремится к распаду, и все, что разделено, когда-нибудь станет единым целым, все, что имеет границы, в конце концов утратит их. Числа преобразуются бесконечно далеким разумом, и вселенная живет.

А время? Если смотреть на него, оно кажется прозрачным. Ткань разрывается, и вот его больше нет, остается только движение небесных тел, превращение вещей, шумов, чередование звуков и еще, наверное, прихрамывающий ход стрелки на часах или проплывающие в окне поезда дома и деревья, сопровождаемые ритмичными проблесками солнца…

Но теперь (Давид откашлялся, он чувствовал, что мысли его снова сбивались, лицо Граувальда, это насупленное и невыразительное, похожее на картошку лицо, казалось, отодвинулось куда-то вдаль. «Сейчас наступает решающий момент, — подумал он, — и нужно собраться, *нужно* собраться!»), — но теперь все может измениться; когда существуют формулы, применение которых про-

бьет брешь в роковой неотвратимости… Процесс повторяется снова и снова; каждый чокнутый ясновидящий, шатающийся словно пьяный по своим видениям, уже представляет опасность для мира и может принести одни неприятности. Ему невдомек, что он творит, он, на свое счастье, даже не понимает этого. А что такое *природа?* Во всяком случае это не растения, не зеленые леса, не усеянные цветами луга, не вся эта мишура. Природа — это значит: *законы,* диктатура. Уйти от ее власти никому не дано.

Давид почувствовал, как пальцы скомкали листок и разжались; он разорвал еще один, во рту пересохло; Давид сглотнул, но это не помогло, откашлялся, опять напрасно. Нужно собраться! От того, понял ли Граувальд формулы, зависит все. Все. Он посмотрел на растекающиеся по стеклу капли.

Да, в тот день он принял вызов.

VIII

Вскоре после возвращения из Африки Марсель издал маленькую книжку. Она называлась «Приключения» и представляла собой собрание коротких зарисовок из повседневной жизни: о поездке на метро (запахи пиццы, гнили и металла, грязь, желто-пыльный свет), об ужине в ресторане под пошлые аккорды популярных мелодий, о покупке обуви (сначала ничего не нравится, а когда после долгих поисков все-таки находится пара, которая устраивает и которую хочется купить, та на полразмера меньше), об утренних мыслях в первые полминуты после пробуждения: глаза закрыты, внешние шумы еще являются продолжением сна, и сам подъем просто немыслим. Об ощущении, что ты заблудился: в какой-то момент все улицы становятся похожими друг на друга и до ужаса непохожими на те, что хранились в памяти, и на каждом углу ожидаешь увидеть овощной и знакомого пуделя, скулящего под дверью. А все эти досадные, излишние, но вознаграждающие особенным чувством удовлетворения трудности при починке старого велосипеда с порванной цепью, разъеда-

емой ржавчиной!..

Получился маленький шедевр. Было продано две сотни экземпляров, в печати появилось пять разгромных, две язвительные и две нейтральные рецензии, а через год издательство изъяло остатки тиража из продажи.

— Больше никогда в жизни ничего не напишу, — заявил Марсель.

— Ну и глупо! Из-за одной только книжки… — попытался утешать Давид.

— Да нет. Я совсем не обиделся. Все в полном порядке. Просто я больше никогда не возьмусь за это. — Марсель засмеялся, и его худое лицо покрылось морщинами. Давид не мог понять, серьезно ли он.

Началась учеба в университете. Давид сидел на вводных семинарах и с трудом сдерживал зевоту, он рисовал — заштрихованных человечков, длинноухих собак, технические диаграммы, стараясь не показать виду, что все это ему уже известно, все, что знают преподаватели, и даже намного больше. Это вполне удавалось. Однажды его спросили, не он ли тот самый, кто получил Молодежную премию в области естествознания. С какой стати, засмеялся Давид, ну а если даже и он, что с того? Студентка с философского факультета,

не красавица, но вполне симпатичная, пригласила его к себе домой. Они вместе поужинали, а потом переспали, полгода Давид жил в ее комнате, заставленной разными изданиями Кафки и увешанной фотографиями модных французских авторов. Когда она уехала из города, он занял ее квартиру: они устроили невыносимо тоскливый прощальный вечер; Давид не просил ее остаться, а она не просила его последовать за ней.

На следующий день он проспал доклад Бориса Валентинова. Ожидалось много народа — после Нобелевской премии «Текстура физического мира» попала в списки бестселлеров. Валентинов получил премию почти сразу после того, как с помощью краткого блестящего алгоритма, который искали очень давно, вывел массу покоя нейтрино, самых хаотичных частичек на свете. Коллеги пытались опровергнуть его формулу, вгрызались в нее со всех сторон, но не нашли ни одного противоречия, повсюду их сопровождала улыбка уверенного в собственной правоте Валентинова. Еще целых полгода они по очереди тайком проверяли его решение — слишком уж необычное и оригинальное — и в конце концов были вынуждены признать его верным. Некоторое время Валентинов разъезжал с докладами по

стране, то и дело его сухощавая прямая фигура появлялась в телевизоре; он, всегда вежливый и, как правило, несколько старомодно одетый, давал удивительно четкие ответы на бестолковые вопросы журналистов. После того как «Таймс» на первой странице опубликовала его фотографию (Давид ее сохранил: смущенно улыбающийся Валентинов, а сверху наискосок надпись: «Повелитель нейтрино»), он вдруг перестал появляться на публике. Не отвечал на вопросы, не писал статьи и выступал только с давно намеченными докладами в какой-нибудь глухой провинции.

Давид проснулся, посмотрел на часы и непонятно по какой причине насмерть перепугался; потом, когда сообразил, что к чему, испугался еще больше и как ужаленный вскочил с кровати. Пока бежал до трамвая, весь взмок, свитер смялся, ноги болели. Прошло десять минут, а трамвай так и не подходил, Давид поймал такси. Он с трудом переводил дыхание, голова кружилась.

— Ничего страшного, — хладнокровно произнес водитель, — успеем.

Они затормозили, Давид расплатился, кинулся вверх по ступеням, наткнулся на вертящуюся дверь, пересек холл и распахнул двери большой аудитории…

Навстречу хлынул поток студентов, все расходились. Некоторые еще сидели на своих местах, просматривая записи и тихонько разговаривая. Казалось, они были в замешательстве. Валентинов только что ушел.

От быстрого бега Давид запыхался. Сколько времени он ждал этого дня, ни о чем другом не мог думать, готовился, обдумывал вопросы, которые имело смысл задать только Валентинову, только ему одному и никому другому… Он побрел назад через холл, мимо вахтера, через вертящиеся двери. На ступенях у входа и на скамейках вокруг площади сидели студенты, пожилые дамы, пенсионеры; в песочнице играли дети. Белый «мерседес» припарковался у тротуара.

В здании университета открылась дверь, и вышел Валентинов. Острый нос, круглые стекла очков, коротко стриженная бородка — все как на фотографиях, он посмеивался про себя, видимо, без всякой причины. Одернув пиджак, посмотрел на небо, прищурился, потер лоб, открыл дверцу автомобиля и сел. Машина тронулась, описала на площади полукруг, сверкнула фарами, повернула направо и скрылась.

Давид опустил голову, засунул руки в карманы и поплелся домой. Он неделю ни с кем не разго-

варивал, нигде не показывался и не выходил из квартиры.

Писал статью о тепловых процессах в жидкостях, опубликованную потом в «Гранях физики». В следующем номере появились письма читателей, их было три. Автор одного называл статью «в высшей степени интересной», другой — «путаной», а третий говорил о «бессмысленном нагромождении пустых слов, просчетов и фантазий». Давид послал в журнал опровержение, но Эрнст Граувальд, издатель «Граней», не отважился его напечатать.

— Не стоит волноваться по пустякам, — утешал его Марсель, — поверь, я знаю, о чем говорю.

— Да дело не в этом. Я мог бы и предвидеть, как все обернется. Теперь все будет сложнее. Меня уже дважды…

— …дважды предупреждали. Знаю-знаю. Но, собственно, кто?

Давид покачал головой и не ответил; Марсель обиженно пожал плечами.

Он жил на ежемесячные переводы от отчима Вёбелинга. С новой женой, которая теперь тоже носила фамилию Вёбелинг (смириться с этим было совершенно невозможно), он перебрался куда-то далеко в другой город, и Давид не мог

избавиться от чувства, что ему платят и будут платить до тех пор, пока он держится на расстоянии. Какая-то фирма купила у Давида лицензию на производство его конденсатора, выложив за нее неожиданно крупную сумму. Ему даже выслали несколько кругленьких шариков синего цвета. Когда он взял один из них указательным и большим пальцем, посмотрел на свет и прищурился, то испытал удивительное чувство удовлетворения.

— Даже обидно, — признался он Кате. — Я мог бы придумать тысячу подобных вещиц, хорошеньких, простых и полезных. Но теперь уже поздно!

Диссертацию об «Ациклических процессах в термодинамике» он написал за несколько недель и с блеском защитился. «Хаос? — спрашивал он во вступительном слове. — Что же это такое? И каковы причины столь сильного взаимодействия между все нарастающим беспорядком и временем, взаимодействия такого беспрерывного, что его — со всеми необходимыми оговорками — даже можно назвать основой мира?

Итак, более или менее упорядоченное состояние мира есть такое состояние, возникновение которого по чистой случайности наименее все-

го вероятно: рассортированная колода карт (к примеру, по мастям и по старшинству) более невероятна, чем перетасованная — по той простой причине, что при тасовании устанавливается определенная закономерность. (Конечно, нельзя исключать и случайную последовательность, но этого никогда не произойдет, это слишком невероятно. „Космос, как пишет в „Текстуре физического мира“ Борис Валентинов, подчинен не только законам природы, но и законам статистики. В этом-то и заключается его подлинная загадка“.) Возьмем стеклянную колбу с разделительной перегородкой посередине: справа поместим газ, слева — вакуум. Если перегородку убрать, газ сразу же распространится по всей колбе. Но он мог бы остаться и на своей половине или перейти на другую целиком; с точки зрения физики возможны оба варианта — но они уж очень маловероятны. (При *n*-ном количестве молекул газа вероятность того, что подобное произойдет, равняется ½, возведенной в *n*-ную степень; но скорее обезьяна, без разбора колотящая по клавишам пишущей машинки, напечатает все книги, созданные человечеством.) Что же находится в промежутке между двумя состояниями — между тем, когда газ сконцентрирован на

одной половине, и тем, когда распределился по всему сосуду?

Только время.

Все происходит само собой, второе состояние вытекает из первого, это естественный процесс, иначе и быть не может. Одно предваряет другое просто потому, что оно более вероятно. При возрастающем беспорядке время растягивается. Определяется его направление. Ведь время не просто изменяющаяся величина, прежде всего это величина, имеющая *направление.* Ни один час не повторяется, ибо в каждый момент времени происходит обновление мира, по сравнению с предшествующим однородным состоянием беспорядок во Вселенной увеличивается. Таким образом, начало и конец существуют всегда. *Энтропия* в переводе с языка физики означает смерть.

Однако не следует забывать о том, что закон энтропии это закон статистический. Газ *мог бы* сжиматься. Ведро холодной воды *могло бы* вдруг закипеть. Карты *могли бы* лечь по порядку, а обезьяна — написать „Сумму теологии“. Единственное, что препятствует этому — вероятность, и только вероятность; но так ли уж незыблемы ее законы? И вообще, откуда у природы столь верно-

подданнические наклонности, столь безропотная готовность следовать предписаниям? Откуда эта изначальная и порой обезоруживающая исполнительность, словно на службе у нее находится целая армия существ, которые постоянно вмешиваются и по необходимости споспешествуют претворению правил в жизнь, защищают от постороннего вмешательства, контролируют поступательный ход времени и неотвратимое приближение смерти? Иными словами…»

— Да, — заметила Катя, — хитро. Все это весьма занятно. Но на сегодня достаточно!

Давид испугался и притих, его лицо медленно залилось краской. Он достал бумажный платок, тщательно расправил его и высморкался, издавая низкие фыркающие звуки.

— Прости! — сказал он и посмотрел на девушку почти бесцветными глазами. За длиннющими и очень тонкими ресницами они всегда казались чуть влажными.

— Ладно уж, — ответила Катя. — Это по правде было… очень интересно. Оставим.

Катя преподавала латинскую грамматику. Крупная брюнетка с яркими пятнами невротического румянца на щеках. Чтобы спрятать страшные обгрызенные ногти, она красила их ро-

зовым лаком; но впустую, все равно было видно. Ко всему прочему Катя слишком много курила: жадно затягивалась едким жаром, а потом выпускала столб дыма, расплывавшийся клубами, за которыми, словно за вуалью, скрывалось ее лицо. Она старалась хотя бы на три урока опережать студентов; и постепенно жизнь ее все больше сводилась к тому, чтобы избегать ситуаций, в которых могло обнаружиться ее плохое знание латыни.

Часто совершенно неожиданно и без всякой причины ее охватывали приступы жалости: у нее выступали слезы при виде скулящего пса или плачущего ребенка, на ней хорошо наживались бесцеремонные нищие в метро, она не отваживалась раздавить бегущего по комнате паучка, похожего на ожившую частичку коврового узора, ловила его за лапку и выносила на улицу. Давид никогда не мог отделаться от мысли, что и он в определенной степени являлся объектом ее дурацкой опеки, весьма подходящим — наравне с собакой, ребенком, нищим или пауком — ее нервозно-нежной сентиментальности. Она готовила для него — надо сказать, довольно средне, — во время прогулок рассеянно слушала его рассуждения, иногда клала свою руку ему на плечо, и

Давид знал: стоит только взять ее и крепко сжать, и Катя приблизит к нему свое лицо, тогда останется всего-навсего положить ей руки на плечи, и в конце концов теплые, немножко влажные губы коснутся его… Но он не делал этого. Слишком ясно виделось ему их совместное будущее: бесконечно длинные ночи, чужое дыхание и редкое бормотание во сне, вечера в дешевых ресторанах, косметика в его ванной, отпуск среди холмистых пейзажей или на переполненных пляжах. Порой, когда сестра, видимо, забывала о своих визитах и страх отпускал Давида, ему снилась Катя. Он видел ее тело, в одежде или обнаженное, чувствовал его тепло, чувствовал, как его собственное тело само собой реагировало на… Ему не нравились эти сны. Эти оккупанты духа, незваные гости, переворачивавшие все вверх дном, дурные, нелепые и назойливые. «Лучше всего, — решил он, — просто не обращать на них внимания». И, удивительное дело, такая установка сработала. Через некоторое время сны посещали его уже реже. А потом почти совсем исчезли.

После защиты профессор Вольлоб, заведующий кафедрой теоретической физики, предложил Давиду место ассистента. С тех пор он три раза в неделю читал зевающим и строчившим в тет-

радках студентам введение в термодинамику, атомную физику, основы квантовой теории, раз в неделю, по очереди с коллегой Мором, вел факультативный семинар, а в конце семестра проверял тонны письменных работ, под которыми Вольлоб ставил потом свою косую подпись.

— Мне хотелось бы, — сказал профессор, — чтобы в следующем году вы поехали со мной на конгресс. Выступили бы там с докладом. Вам следует заняться карьерой, мой дорогой!

— Нет, я не могу! — Давид почувствовал, как его бросило в жар.

— Даже обсуждать это не хочу. Вы поедете. Ничего страшного с вами не случится.

— Вы не понимаете…

— Не хочу это обсуждать, — повторил Вольлоб.

Давид полгода трудился над докладом. Может, все это правильно, может, это и был как раз самый подходящий момент, чтобы обнародовать открытие. Не исключено, что сам Валентинов там будет! Давид допоздна просиживал за письменным столом перед тускло мерцающим монитором — со временем это сказалось на его больных глазах — и дрожащими после кофе пальцами перекраивал только что написанное, написанное не очень хорошо и, по его же собственному мнению, недо-

статочно ясно, снова стирал и начинал заново, а когда, изнемогая от усталости, поднимал глаза, то видел первые лучи солнца, пробивающиеся в окно. Ночь проходила, и в следующие двенадцать часов не представлялось никакой возможности поспать.

— Я думал, — заметил Марсель, — ты хочешь затаиться!

— Но ведь, может, сейчас именно самый момент. Рассказать им все, что мне известно.

Компьютер зависал все чаще и чаще, и однажды изображение совсем исчезло, будто его засосал какой-то гудящий внутренний орган машины, оставив только белое мерцание. Но Давид привык писать от руки. Он внимательно смотрел на клетчатые испещренные цифрами листы (если прищуриваться, формулы походили на четырехлапых зверюшек) и воображал себе, как взойдет на кафедру, откашляется и, не глядя в зал, начнет говорить. В какой-то момент, конечно же, поднимет голову и среди лысин и жидковолосых неправильной круглой формы черепов увидит ряды глаз, направленных на него, и тогда наступит мертвая тишина, усиленная микрофоном и громкоговорителем… Он так ясно представлял себе эту картину, что оказался

в замешательстве, когда все вдруг стало происходить на самом деле. Он стоял перед немым и многооким залом, люди смотрели на него и ждали, когда он заговорит. Пытаясь справиться с волнением, Давид перевел взгляд на лежавшие перед ним записи. «Глубоко дышать, — подумал он, — главное, дышать полной грудью». Хотел прислушаться к собственному голосу, но это не совсем удавалось. Мысли сбивались, на секунду он совершенно ясно увидел перед собой море, почувствовал запах водорослей и спросил себя, не на море ли он в самом деле и не есть ли эта аудитория просто-напросто порождение фантазии; потом ему почудилось, что он лежит в траве, и на него всем своим весом навалилась Мария Мюллер, а по шее, щекоча, карабкался муравей; а потом на секунду возник образ сестры с открытыми глазами и перерезанным горлом. Давид закричал, но его крик потонул среди общего гула, поднявшегося в тот же самый момент и вернувшего его обратно в зал, на трибуну.

— А что потом? — спросила Катя.

— Не знаю. Во всяком случае шума было много. Несколько человек вскочили со своих мест и кричали, один из них показывал на меня пальцем, другой вопил: «Дайте ему сказать, дайте же ему

сказать!», а два старика в задних рядах зааплодировали, но этого никто не заметил. Вольлоб сидел в первом ряду и даже не взглянул на меня. Ну а потом поднялись другие и началась взаимная перебранка, кто-то в микрофон призывал к спокойствию и предлагал все мирно обсудить. «Только не это!» — голосили в ответ, и в конце концов поднялся страшный хохот, а я поспешил восвояси. Да, потом я ушел.

Давид замолчал. Катя смотрела на него: на его лицо, покрывшееся красными пятнами, на волосы, торчавшие во все стороны, слышала его тяжелое дыхание.

— На следующий день о «скандале на конгрессе физиков» писали даже газеты. Из коих следовало, что никому не известный новичок пытался изложить невразумительные теории, в середине речи его прервали, и он сбежал. Рядом поместили интервью с Грамхольцем, организатором, который клялся, что не может найти объяснение случившемуся, что такое больше никогда не повторится и впредь отбор приглашенных будет более тщательный. С тех пор Вольлоб со мной не разговаривает. Сдается, места я тоже лишился.

Давид засмеялся и бросил на Катю на редкость осознанный взгляд.

— Сам же виноват, правда? Я мог бы предвидеть такой поворот.

Потом вернулся к письменному столу, выдвинул ящик и достал две бумажки.

— Посмотри-ка! Двое написали мне. Не сговариваясь. По их мнению, мои выводы, несмотря ни на что, достаточно интересны, и, вполне возможно, я прав. Они даже изъявили желание поговорить со мной.

Он бросил письма обратно и задвинул ящик.

— Так я и согласился!

— Но почему? Они же хотят тебе помочь! — недоумевала Катя.

— Вот еще! Я не совершу одну и ту же ошибку дважды. Совершенно определенно!

— А Валентинов?

Давид не ответил.

— А что Валентинов? Он-то что сказал?

— Его не было. Никто не знал почему. Он просто не пришел. Я послал ему свой доклад, но он не ответил. — Давид потер лоб. — Он просто не ответил.

Но потом Давиду повезло. Хотя это была достаточно редкая форма везения: неделю спустя профессор Вольлоб лег в постель, накрылся одеялом, потушил свет, заснул и больше не проснулся.

Его место занял Эрнст Граувальд, который ничего не знал о конгрессе, который вообще никогда не участвовал в конгрессах и для которого наука была чем-то вроде осмотрительной политики власти. Давид показался ему безобидным и даже полезным работником, так Давид продлил свой договор. А потом умер еще кто-то.

По случайному совпадению похороны опять пришлись на лето; словно без них лета не бывает. Давид стоял рядом с Вёбелингом и наблюдал, как опускался длинный деревянный ящик, исчезая в четырехугольной дыре; как выступали капли пота на лбу у мужчины, крутившего рукоятку лебедки. Вдруг его охватило чувство, будто все, что случилось между этими похоронами и предыдущими, в действительности было иллюзией, наваждением; будто вся жизнь проходила только здесь, на этом самом кладбище, и нигде больше. Горсть земли, брошенная им, громко шлепнулась на доски да так и осталась лежать там горкой коричневатой грязи. Простившись с Вёбелингом, он направился домой.

Теперь он то и дело брал больничный. Работа (а для нее Давиду требовались разве что письменный стол, бумага и ручка) не прекращалась ни во время прогулок, ни в трамвае, ни в кровати перед

отходом ко сну и продвигалась вперед, несмотря на различные подводные камни, которых становилось все больше. Все чаще мучила одышка, все чаще кружилась голова, предметы теряли свою окраску, а в ушах, заглушая все остальное, разливался высокий звенящий звук. Случались дни, когда малейшее движение вызывало боль. Близорукость прогрессировала необычайно быстро: потребовались одни, потом другие очки. Нередко подскакивала температура, Давид легко простужался.

— Нужно торопиться, — говорил он Марселю, — если я закончу, тогда дело в шляпе, тогда я победитель. Но если в ближайшее время мне не удастся завершить, тогда… — Давид сильнее затягивал шарф вокруг шеи и выкатывал при этом глаза, казавшиеся в очках меньше, чем на самом деле, а Марсель в который раз думал о том, что их цвет определить совершенно невозможно. — Тогда я проиграл.

Давид подолгу гулял. Запустив руки в карманы и глядя на попеременно выступающие вперед ботинки, он слонялся по городу до тех пор, пока не начинали болеть ноги. Что-то помогало ему вести подсчеты: шаги ли, трещины на асфальте, пожарные краны по краям тротуаров, чужие

башмаки. Ничего не видя и не слыша, Давид часто натыкался на прохожих, и холодный, пахнущий пиццей ветер доносил до него их ругательства. Тогда он настораживался, руки в карманах сжимались в кулаки, дыхание учащалось.

Однажды он остановился. На центральной площади, перед старой ратушей, где с некоторого времени работал Марсель; но Давид не узнал места. Подняв голову, он увидел треугольник с острыми углами, пересекающий овальную плоскость: башню ратуши и дождевое облако. И как в старые времена, когда он еще стоял на воротах, мир вдруг отступил, и во всех его формах обнаружилась геометрическая ясность; Давид едва не ощутил знакомое парение в воздухе. Решение было близко. Он сделал вдох, но дыхание пропало, остался только график пульсирующих чередований спадов и подъемов кривой. Решение было уже совсем близко. К первой кривой подстроилась другая, с более высокой частотой колебаний, описывавшая сверху вниз головокружительные виражи. Овал отделился от треугольника, между фигурами образовалось незаполненное пространство, растянутое на осях координат, в точке отсчета которых… Вдруг его пронзила острая боль, Давид услышал свой крик и понял, что

падает и что вторая, более динамичная кривая есть не что иное, как биение сердца.

Потом он увидел башню, круглое облако и лица склонившихся людей, те шевелили губами и издавали непонятные звуки. Но боль разлучила его с ними. И со всем, что находилось вне его тела.

Затем пришла в движение белая плоскость, освещенная одной, двумя, тремя неоновыми трубками; после четвертой все расплылось, маленькая девочка повернулась к Давиду спиной и обеими руками подала кому-то знак, он знал, кто она такая. Ее унесло потоком яркого света: прямо в глаза светила мощная лампа, к его лицу что-то прикладывали, это оказалась пластмассовая маска, воздух наполнился электрическим свистом, который не прекращался, не прекращался, не прекращался…

— Ну, конечно, — сказал врач, улыбаясь и медленно разглаживая усы, — признаюсь, это довольно редкий случай. Хотя не такой уж необычный, как вы думаете. Инфаркты случаются и в более раннем возрасте, даже у детей. Даже у спортсменов. Нортон Бенфилд, к примеру, олимпийский чемпион по…

— Я знаю, — сказал Давид.

— …правильное питание. Движение, никакого

курения, никакого алкоголя. Может, стоит пройти курс санаторного лечения. Но прежде всего…

— Я знаю.

— …сбросить вес. Непременно! Видите ли, вокруг сердца находятся маленькие кровеносные сосудики. Из-за того что в них слишком много жира, кровь поступает недостаточно быстро, а это может привести к закупориванию, к…

— …к тромбу коронарной артерии. Знаю!

— Вот и прекрасно, тем лучше, — раздраженно сказал врач и поставил на ночной столик пузырек. — Нитроглицериновый ингалятор. Это сосудорасширяющее. Отныне вы всегда должны иметь его при себе.

Врач удовлетворенно кивнул, вышел, предоставив двери захлопнуться самой, и больше не возвращался.

Когда Давида выписали из больницы, он действительно поехал в санаторий: после многочасового путешествия поезд привез его в зеленые холмистые и довольно унылые края. Всю дорогу он недоверчиво прислушивался к ударам сердца, которые теперь были ощутимы и будут ощутимы всегда, как удары непредсказуемого противника. Ему стоило невероятных усилий отказаться от курения; но настоящей пыткой, хотя готовили в

санатории неважно, стало умеренное питание. Каждое утро Давид ходил в бассейн, но вода была слишком теплая, пахла хлоркой и серой, и он боялся утонуть, несмотря на то что всегда превосходно плавал.

Дни напролет он работал. Правда, теперь ничего не записывая и сохраняя все формулы в голове: это требовало большей концентрации, зато дело продвигалось быстрее. Ничто не отвлекало его: ни еда, ни купание, ни прогулки под палящим солнцем, во время которых он обливался потом и страдал одышкой. Давид взбирался по крутым тропинкам на горки, спускался вниз и прислушивался к своему тяжелому дыханию.

А однажды сделал остановку. Сердце бешено колотилось, кровь стучала в висках. Давид сошел с тропинки и сел на поляне. Потом осторожно прилег. Зевнул. Сердце билось уже ровнее.

Вдох, выдох и снова вдох. Трава щекотала уши. На секунду ему вспомнилась Мария Мюллер, и он подумал: где-то она сейчас. В небе очень медленно плыл самолет, время от времени помечая вспышками огней отдельные точки на синем фоне, потом он скрылся за тучей и больше не показывался. Кругом стояла глубокая тишина.

Слишком глубокая.

Еще никогда Давида не окружала подобная тишина. В воздухе появилось слабое мерцание. Давид почувствовал, что за ним следят. Зажмурился, выждал несколько секунд и снова открыл глаза.

Кругом никого. Ни самолета, ни облачка. Только небо, неожиданно низкое небо. И цвет, ему еще никогда не доводилось видеть небо такого цвета. От яркого света болели глаза, боль переходила на лоб, на кожу. Давид не шевелился. Попробовал сделать вдох, но воздух исчез. Небо держало его мертвой хваткой.

Даже травинки притихли и не подавали знаков. Небо надвигалось. Дыхание не восстанавливалось.

Давид закрыл глаза и попробовал собраться с силами. Но это не помогло: он по-прежнему видел небо. Панический ужас перед собственной беспомощностью охватил его. И не отпускал. Не отпускал. Не отпускал.

Когда Давид пришел в себя, уже стемнело. Видимо, в какой-то момент он просто отключился. Неизвестно, как долго он здесь пролежал. От деревьев на краю поляны остались темные силуэты. Кричала птица, со стороны дороги доносился приглушенный гул автомобиля. Пятнистая и не

совсем круглая луна, похожая на латунный диск, высвободилась из-под опеки облака. Давид сгорел на солнце, кожа болела, он с трудом поднялся, конечности затекли и, казалось, ни на что не годились. Медленно и осторожно переставляя ноги, он побрел обратно в пансионат. Надеялся еще поспеть к ужину. Он знал, это было очередное предупреждение. Возможно, даже последнее.

Ночью он долго не мог заснуть. В первый раз ему хотелось со всем покончить. Давид лежал на спине — ожоги не давали повернуться на бок. Пытался вспомнить цвет, который видел (смешивая различные цвета, получить нечто похожее, но все было напрасно, и тогда он оставил попытки). Он тихо застонал. Нет, это совершенно немыслимо, вот так все бросить, слишком далеко он зашел. Время, безмолвное, приносящее смерть время: и существовал способ ускользнуть от него.

Давид впрыснул ингалятор. Голова болела, ему было жарко: вероятно, опять поднялась температура. В мыслях копошились на редкость уродливые числа, выстраивались все новые и новые комбинации. Собрав все силы, Давид прогнал их. Больное сердце яростно колотилось, накачивая кровью тучное, слабеющее тело. И пока он так лежал в ожидании сна — в этой кро-

вати, на спине, без одеяла, причинявшего только боль, — его охватило сильное чувство нереальности происходящего. Словно отсюда он перенесся (но это уже, конечно, снилось) в кабинет и стоял теперь перед столом, за которым, полузакрыв глаза, сидел пожилой мужчина в черном костюме. Подперев голову кулаками, он, словно оцепенев, смотрел в стол. Дождь барабанил по стеклу. От лампы разливался грязно-желтый свет.

Dèjà vu — ощущение было настолько острым, что Давид начал заикаться. Да, когда-то он уже сюда заходил. Вместе с тем ему казалось, что он находится в другом месте, в кровати, далеко за пределами времени и пространства. Он откашлялся и хотел продолжить, но забыл, на чем остановился. Откашлялся снова.

— Ну и? — спросил Граувальд, не глядя на него. — Это все?

Давид задумался. Он не знал, насколько далеко зашел в своих рассуждениях, ибо последний час напрочь стерся из памяти; он говорил и говорил, пока не охрип, но его сознание было где-то не здесь. Как и тогда, во время доклада.

— Да, — робко сказал он, — это все.

Граувальд тупо смотрел в стол и молчал.

Громко барабанил дождь. В соседней комнате

зазвонил телефон.

— Уж и не знаю, с чего начать, — сказал профессор. — По мне бы… Но вы хотите получить отзыв. Вы даже хотите, чтобы это напечатали, не так ли?

Граувальд замолчал, прищурился и стал рассматривать тыльную сторону ладони. Снова зазвонил телефон.

— То, что вы здесь пытались изложить… Должен признаться, что с какого-то момента я больше не мог… И, пожалуйста, только взгляните, что вы тут натворили!

Стол был покрыт исписанными листками. На полу валялись ручки, карандаш и раскрытая коробка со скрепками, чье содержимое — сотня маленьких блестящих скрепок — разлетелось по всему ковру. Телефон зазвонил в третий раз, но уже как-то нерешительно, и сразу стих.

— Я не перебивал вас, — продолжал Граувальд, — хотя, честно признаюсь, с какого-то момента перестал вас слушать. Я… ничего не понял! Ничего! А почему? — Он всплеснул руками. — Да потому, что тут нечего понимать! Господин Малер, в жизни я еще не слышал подобной белиберды, подобной… подобной…

Он поднял руку, сжал в кулак и вдруг, неожи-

данно даже для самого себя, ударил по столу с такой силой, что один из бумажных комков скатился на пол, а лампа и нож для вскрытия писем тихо задребезжали.

— Во всяком случае я не собираюсь рисковать своей репутацией из-за… Даже если ваши расчеты верны!

— Я думаю, они верны, — сказал Давид. — Вы напечатаете их?

— Вы не поняли меня?

Давид потер лоб. Тяжело вздохнул.

— Господин профессор, я не просил вас высказывать свое мнение, я просил вас только… Как вы думаете, хранители, существуют ли они на самом деле?

— Что?

— Не знаю, как сказать. Мне кажется, что некоторые вещи следует держать в тайне…

Давид посмотрел в окно. Дождь кончился. Небо словно из металла отливало серым.

— Вы сумасшедший, — протянул Граувальд.

— Может быть. Но кто-то охотится за мной. И мои расчеты верны.

— Думаете, я не в состоянии судить об этом?

Голова Граувальда качнулась, глаза стали еще меньше.

— Вы что, принимаете меня за идиота?

Давид посмотрел на профессора. Он смотрел на него, крепко вцепившись в спинку стула и сдерживая приступ кашля.

— Какая дерзость! — взревел Граувальд. — Какая наглость… И даже… Нет, это ни в какие воро…! Слушайте внимательно, я скажу, в чем вы ошибаетесь, это доставит мне чрезвычайное удовольствие. Вот вы здесь сидите, разглагольствуете об энтропии и каких-то хранителях, хотите одурачить меня своими абсурдными, надуманными формулами, пытаетесь привести возмутительные доказательства этого бреда…

— Вы напечатаете статью?

— Разумеется нет!

Давид поднялся.

— Вы останетесь! Вы никуда не пойдете! И выслушаете меня! — рычал Граувальд.

Давид повернулся.

— Малер!

Он остановился.

— Вы уже беседовали со специалистом?

— Я думал, что вы специалист.

— Нет, я не это имею в виду. Мне кажется… Вам требуется помощь.

Давид внимательно посмотрел на профессора.

Из коридора доносились шаги: они то приближались, то удалялись. На полу валялось девяносто семь скрепок, не сто, а девяносто семь. Давид направился к двери.

— Постойте, — тихо сказал Граувальд. — Можно говорить о чем угодно, по мне, так и о вашей теории, я не против, но… Не натворите глупостей!

Давид распахнул дверь и вышел. Пустой коридор слегка покачивался. Голова кружилась. Давид слышал, как захлопнулась за ним дверь, заглушив голос Граувальда. Хриплый голос, продолжавший говорить.

IX

Три руки. Из разных концов аудитории. Взметнулись ввысь на фоне мокрого окна и скелетами чернели на свету.

— Нет, — пресек Давид, — не сейчас. Пожалуйста, не задавайте вопросов.

Он всем телом налег на кафедру, опустил голову и старался никого не замечать. Лица мешали ему сосредоточиться. Сорок восемь пар глаз (и одна закрытая; молодой человек в предпоследнем ряду спал; спал по-настоящему; грудь его ровно поднималась и опускалась, рот был слегка приоткрыт; всякий раз, когда он попадал в поле зрения Давида, тот чувствовал прилив необъяснимой симпатии к нему), сорок восемь авторучек пунктиром двигались по бумаге, пытаясь записать его слова. Вот опять три руки.

— Сначала я закончу, — сказал Давид. — Все вопросы потом.

Он увидел приклеенный к краю пульта затвердевший шарик жвачки. С трудом подавил отвращение и решил про себя больше не смотреть на него, и на него тоже. Как всегда, во время лекции он старался дышать не очень глубоко:

пахло потом и парфюмерией, прилежанием и скукой, скоплением тел, обедом и всеобщей вялостью.

— Мы можем, — услышал Давид собственный голос, — по меньшей мере гипотетически исходить из того, что природа обманчива. Всем вам известно…

Он посмотрел в аудиторию: растерянные отсутствующие лица, бородатые и гладко выбритые, хорошенькие студентки никогда не садились вперед; некоторые едва ли моложе его. Но он знал то, чего не знали они.

— Всем вам известен парадокс Валентинова. Известно, что наши знания о природе электронов всецело зависят от постановки вопроса. Опыт, призванный подтвердить волновую природу этих мельчайших частиц, подтверждает, что они таковой природой обладают; опыт, который должен обосновать их корпускулярные свойства, обосновывает их корпускулярность. На первый взгляд оба положения взаимоисключают друг друга, но при этом существуют автономно. Обычно мы исходим из того, что совместимость двух различных перспектив достигается через третью, более обобщающую, которая нам пока неизвестна. Это…

Снова поднялась рука. Давид зафиксировал ее краем глаза, но решил не реагировать.

— …было бы грандиозно! Но что, если данная посылка неверна? Вот в этом-то и заключается парадокс Валентинова…

Еще одна рука. Давид повернулся к окну и скрестил за спиной руки. Перед ним опять возник образ рассвирепевшего Граувальда, его перекошенное от ярости лицо и до смешного желтые зубы.

«Я мог бы пойти домой, — подумал он, — ведь это все равно моя последняя лекция. Так или иначе. В любом случае последняя».

— А если все не так? Если оба положения противоречат друг другу и снять противоречие невозможно? В таком случае…

Он повернулся к ним, в сторону девяносто шести, нет, девяносто восьми — спящий уже проснулся — глаз.

— В таком случае сама наша реальность оказалась бы весьма сомнительной. И если…

Рука снова опустилась, никто больше не вызывался, все смотрели на него с недоумением или без всякого выражения.

— И если существует, скажем, армия ангелов, или тенденция, что одно и то же, тенденция мира

предотвращать нарушение правил и не допускать ошибок, ибо…

Давид снова повернулся к окну. На полукруглой площади стояли скамейки, сидели люди, толкались голуби, казавшиеся сверху бессмысленным скоплением серо-белых пятен. Он откашлялся. Даже отсюда было видно высотное здание, в зеркалах которого отражалось другое, вывернутое наизнанку и какое-то зловещее небо.

— Поверьте мне, при сотворении мира *допущена* ошибка. Бог все рассчитывает, но иногда… и просчитывается.

Он посмотрел через плечо: их лица изменились. Ручки, равномерно двигавшиеся слева направо в такт его словам, застыли и лежали теперь возле открытых тетрадей и блокнотов. В аудитории переглядывались и шептались, какая-то блондинка качала головой, и, как назло, даже студент, который до того спал, теперь широко и злобно ухмылялся.

— Но это большая тайна. И ее нужно тщательно скрывать. А того, кто докопается до нее, станут в каком-то смысле, в самом что ни на есть прямом смысле, пожалуйста, поймите меня правильно, станут *преследовать.* Преследовать и… — Давид почесал подбородок, шею, справился с подсту-

павшим приступом кашля; его рука невольно легла на сердце, но он тут же в ужасе отдернул ее и спрятал в карман. Что-то устремилось к окну, заставив его вздрогнуть, но это был всего лишь голубь. В зале раздался смешок.

— Если, к примеру, — послышался голос, и это оказался его собственный голос, только звучал он как-то необычно, — кому-то все-таки удалось разобраться в природе времени и найти способ… способ ускользнуть от него… Пожалуйста, примите это как совершенно произвольную гипотезу! Красота и величие открытия поначалу очень обрадуют этого человека… Но постепенно он поймет, какая опасность ему угрожает. Вероятно, он даже в своей собственной жизни увидит то, что всегда имело место, но только в определенный момент вышло наружу, всевозможные попытки… попытки помешать ему. Попытки ему…

Давид запнулся. Он не знал, на чем бы остановить взгляд, даже высотка вызывала теперь отвращение. Он чувствовал: девяносто восемь глаз внимательно на него смотрят. И еще два принадлежали голубю, черные булавочные головки то скрывались за крошечными веками, то появлялись снова. Голубь что-то клевал. Его перья были грязные и потрепанные. Давид подошел к

окну. Голубь вспорхнул и камнем бросился вниз, отдаваясь свободному падению.

Давид смотрел ему вслед. Голубь падал. Падал и медленно, словно в нерешительности, расправлял крылья. Описал кривую, отразившуюся на красной крыше автомобиля, потом сбросил скорость, продолжая парить на ветру, несколько раз взмахнул крыльями и приземлился возле машины на асфальте среди других птиц. Сразу смешался со стаей, так что его уже нельзя было отличить от остальных.

— Господин Малер, — послышался голос. Отчетливый женский голос откуда-то из середины зала.

— Да?

— О чем это вы?

Давид почувствовал, как краска залила его лицо. Он не шевелился. Его взгляд скользил по рядам, но не мог отыскать хозяйку голоса. Он не знал, кто задал вопрос. С разных сторон доносилось хихиканье.

Прежде чем ответить, Давид откашлялся. Надо было что-нибудь ответить. Вдруг ни с того ни с сего он вспомнил голубя. Тот взлетел не ввысь, напротив. Эти твари всегда так делают: летят не вверх, а бросаются вниз, постепенно падение

переходит в полет, так что нельзя сказать, где кончается одна стадия и начинается другая. Естественно, им нужно беречь силы. Хотя подобная задача не из легких, к тому же связана с риском. Даже голуби должны уметь управлять своим телом, ведь оно состоит из материи, а на нее действует сила тяжести. Хитрость, только благодаря ей легко преодолеть препятствия. Благодаря одной хитрости.

Кто-то прыснул со смеху. Студентка отбросила назад прядь волос, вспыхнул свет. Ручка упала на пол и вдоль рядов покатилась вперед к кафедре, к Давиду. Он отшатнулся. Смех усилился. Давид открыл рот и снова закрыл. Там, в правом углу стены, была дверь, стоит только ее отворить, и тогда…

Он посмотрел на часы. Казалось, он слышал их тиканье, совершенно отчетливое, несмотря на шум. Похожее на ясную ночь… Как все было низко, извращено смехом, недоверием и равнодушием, преисполнено опасности, исходившей от того, что с неизбежностью надвигалось, подступало к нему, гасило жизнь и с каждым мгновением все больше засасывало в пучину прошлого, в пучину бесконечного и забытого времени. Давид выдержал несколько секунд, отмеченных

отрывистыми скачками стрелки. Теперь раскаты хохота обрушивались на него со всех сторон, впереди стеной выстроились смеющиеся лица. Еще одна, еще две секунды…

Потом он вышел.

Он даже не обернулся. Снова направился по коридору, по пустынному и слегка изогнутому коридору. Вот кабинет Граувальда. Что-то заставило Давида остановиться и открыть дверь.

Граувальд ползал по ковру и собирал скрепки. Было слышно его тяжелое дыхание, виднелась скрюченная спина и седая голова, криво сидевшая на шее.

— Малер, — начал он, — опять вы! Да как вы…

Давид внимательно смотрел на профессора. Граувальд попробовал встать. Наклонился вперед, оттолкнулся руками от пола, однако силы неожиданно ему изменили. Руки профессора подкосились, и он смачно плюхнулся на пол. Снова оказался внизу и сидел теперь, вытянув ноги, словно малое дитя. Следующую секунду на ковре еще виднелись отпечатки его пальцев.

— Какого черта вам опять тут надо? — тихо спросил Граувальд.

Давид закрыл дверь. Лестница вниз, третий этаж, второй, холл, выход. Дежурный на про-

ходной клевал носом, скрестив на груди руки и похрапывая. Он только тихо вздохнул во сне, когда Давид пролетел мимо него.

Вращающаяся дверь со всех сторон пыталась навязать ему его же собственное отражение, бледное и многократно умноженное. Отражение толстого вспотевшего мужчины с раскрасневшимся плохо выбритым лицом, выражавшим решительность. Дверь, вращаясь, скрипела, она сопротивлялась, но в конце концов выпустила его на свободу. После душной аудитории Давид ощутил приятное прикосновение свежего воздуха, хлынувшего навстречу. Когда-то здесь, возле лестницы, только с другого ее конца, Валентинов сел в автомобиль и укатил прочь, прочь из его жизни. Давид думал об этом всякий раз, выходя из университета.

Вниз по ступенькам, на площадь. Еще сверху он заметил стаю голубей, заполонивших асфальт (его так и подмывало обернуться и посмотреть на окна аудитории; но он знал: они стояли там и следили); на скамейках сидели старики и бросали на землю кусочки хлеба; туда, куда они падали, устремлялись птицы, толкаясь и нападая друг на друга. «Я больше никогда не спущусь по этой лестнице», — подумал Давид. Сделал глубокий

вдох, потом выдох, после дождя воздух был влажный и чистый. Давид спрятал руки в карманы и прямо через площадь направился к голубиной стае, в самую гущу.

Птицы поднялись шумным, уносящимся вверх облаком. Казалось, это вдруг ожила земля. На мгновение воздух наполнился трепетом, беспокойным серым трепетом: какой-то старик отвернулся, другой закрыл лицо руками… Но очень скоро все кончилось. Только запрокинув голову, можно было следить за птицами: они уже летели над крышами, гул постепенно стихал, множество голосов смешались теперь в один крик, который то усиливался, то снова слабел.

X

— Адреса никто не знает!

— Какого адреса? — спросила Катя. Наклонилась вперед и погладила его по плечу, он почувствовал нежное, приятное прикосновение. И отстранился.

— Валентинова. Вчера я послал мои записи в университет. Но этого мало. Я сам должен к нему.

Катя посмотрела на него. Давид тяжело дышал, волосы его были всклокочены, но лицо светилось.

— Ты не думаешь, что после всего, случившегося сегодня, тебе не следует лезть на рожон? Ты скорее всего потерял работу. Может, хватит уже?

— Нет, не хватит!

Он вытащил мятый платок и вытер лицо.

— Представь: позавчера ночью я вдруг нашел. Все, что искал. Кстати, ты видела фонарь?

— Что?

— На улице. Его уже починили. Знаешь, мне приснилось, что он разбит, когда я даже не мог об этом знать, и потом он действительно… Словно я на короткое время перенесся в будущее,

понимаешь, словно моего открытия оказалось достаточно, чтобы нарушился весь порядок… Это, наверное, звучит очень невнятно?

— Вообще-то да, — ответила Катя.

Она наблюдала за ним, склонив голову набок, потом отбросила назад волосы и подошла к окну. В некоторых местах облака разорвались, освободив уже порозовевшее небо. По улице важно расхаживал полицейский.

— Вполне возможно, ты и прав, но… возможно, твое открытие настолько важно или… необычно, что совершенно сбивает тебя с толку. И твой рассудок…

— Не в состоянии это выдержать. Ты это хочешь сказать?

Девушка смотрела на него. Красные губы, покрой ее кофточки, блики заката на волосах, карие глаза — Давид невольно обратил на это внимание.

— Да, — подтвердила она, — именно это я хочу сказать.

— Большое спасибо.

— Да что с тобой в самом деле?

Давид пожал плечами:

— Ничего особенного. Только то, что времени не существует.

— Примерно то же утверждал еще Платон. *О движущемся подобии вечности.* И после него еще многие. Не сердись, но ничего такого, сверхоригинального здесь нет.

— Разумеется, все это давно известно. Конечно. Но я нашел доказательства.

Катя мельком взглянула на него. В окне появилось ее отражение. Порыв ветра с шумом опрокинул урну, разметав в воздухе бумажки и салфетки, сорвал с полицейского фуражку. С распростертыми руками тот кинулся за ней. Фуражка упала на землю прямо перед ним, полетела дальше, снова приземлилась.

— Физика, — заговорил Давид, — не признает времени. Того реального времени, которое необратимо направлено из прошлого в будущее. Хотя нет, признает, но только в одном-единственном случае. Он сформулирован во Втором начале термодинамики. А оно гласит: хаос развивается исключительно по нарастающей.

Давид стоял теперь за Катиной спиной. Полицейский выбивал пыль из фуражки.

Катя повернулась. Теперь она была совсем близко. Давид видел ее раскрасневшееся лицо, узкие глаза, две завивавшиеся пряди волос на лбу.

— Только Второе начало объясняет единствен-

но возможную связь между материей и временем. Если его отменить…

— Но это было бы ужасно.

— Отчего?

Околдованный близостью девушки, Давид на мгновение замолчал, и мгновение было долгим и затянувшимся. Потом сделал шаг назад.

— Ты знаешь, это не так-то сложно. В этом-то и заключается все чудо. Я так долго искал и уже давно нашел бы… но кто бы мог подумать, что все так просто. Похоже, создатель допустил ошибку в проекте, и произошло… своего рода недоразумение. Его план не должен был сработать.

Давид поднес к лицу очки и, расправив дужки, осторожно надел.

— Но он сработал.

Катя подошла ближе. За спиной ощущался холодок окна. Она протянула руку и коснулась его щеки. Он вздрогнул и вдруг вспомнил старика на скамейке, вспомнил, как дотронулся до него и что было потом. Катя отвела руку.

— Четыре длинные формулы, — сказал он, — и ряд пояснений. Несколько приборов в лаборатории. И все бы двинулось с места, дело бы пошло, набирая обороты и распространяясь как волны по воде. Время бы утратило привычную четкость.

Знаешь, мы всегда думали, что физический мир прочен, незыблем и точно выверен. Что законы его неопровержимы. Но это не верно. Ибо в действительности мир очень хрупкий. И сломать его ничего не стоит.

— С тобой не все в порядке. — Катин голос звучал неуверенно, почти надломленно. — Ты со всеми разругался. Ты…

— Глупости. Люди умирают. Они не выполняют своих обещаний. Их никогда нет на месте. Им в любой момент могут перерезать горло.

— Послушай меня!

Катя взяла в свои руки его голову, крепко, до боли сжала ее, и Давид увидел отражение своего лица, удвоенное в ее зрачках.

— Ты слегка двинулся!

— Правда? — Давид почувствовал, как поднималось в нем острое и бессмысленное чувство сильной неприязни. — Да кто ты такая? — услышал он собственный вопрос. — Стоишь, понимаете ли, тут и любой ценой пытаешься меня разубедить, ведь любой, не правда ли? Кто тебя послал?

Она отпустила его.

— Что ты сказал? Ты считаешь…

Но Давид ничего не разобрал; ее голос заглушил

гул вертолета; вот он показался в окне, неожиданно близко и огромных размеров. Пропеллер накручивал в воздухе круги, вокруг мерцала красноватая зыбь. Вертолет удалялся, гул постепенно стихал, становясь слабее, и вскоре совсем прекратился.

— Даже если тебя никто не посылал, — тихо сказал Давид, — что маловероятно, так как они уже здесь и будут делать все возможное, а ведь мы едва знаем друг друга… Даже если тебя никто не посылал, было бы слишком рискованно.

Он сел за письменный стол, обхватил голову руками и на несколько секунд замолчал.

— Ты могла погибнуть…

Он посмотрел на Катю: та стояла перед ним и была бледна, из-за чего ее алые губы пылали еще сильнее, даже сейчас он обратил на это внимание. Девушка тяжело дышала. Давид покачал головой.

— Они существуют. Они действительно существуют. Но забудь все сказки. На самом деле это нехорошие люди. Их любезности грош цена, и у них нет ни капельки сострадания.

Вертолет вернулся. Вернулся стальной винт, рассекающий воздух, вернулся грохот колоссальной вихревой силы; Давид невольно втянул

голову. Катя стояла на том же месте, в центре комнаты, только теперь она держалась подальше, в трех шагах.

Некоторое время они молчали. Потом вертолет скрылся, унеся с собой шум. Солнце почти закатилось, на лице девушки мерцали последние лучи.

Она покачала головой.

— Ты переутомился, Давид. Считай, я ничего не слышала. Ничего. Ни одного слова.

— Значит, ты мне не веришь?

— Пожалуйста, иди спать! Ты в ужасном состоянии.

— Неужели? — Он взглянул на нее рассеянно и почти враждебно. — Я этого не знал. Впрочем, я чувствую себя вполне сносно. Прости.

— Ничего страшного.

Она отвернулась, хотела закурить, но движения ее были какими-то нервными: спичка зажглась, сломалась и маленьким желтым пламенем упала на ковер; Катя быстро наступила на нее. Зазвонил телефон. Давид встал и поднял трубку.

Он не сразу узнал голос.

— Только что получил адрес Валентинова, ты мой должник. Знать не хочу, на кой он тебе. Записываешь? Ах да, ты же еще ничего не слышал: наш старый идиот в больнице, сильные боли в

области живота, а еще что-то вроде приступа, подробности пока не известны. Кажется, все очень серьезно. А поскольку тебя не было, решили передать его семинар тебе; сожалею, но так получилось. Ах да, адрес! Пишешь?…

Давид записал адрес и положил трубку. Посмотрел вокруг и испугался. На мгновение он забыл, что в комнате помимо него есть еще кто-то.

Катя стояла у двери. В пальто, рука лежала на ручке двери.

— Подожди немного, пожалуйста.

— Нет, Давид. Я зайду завтра.

— Завтра ты меня здесь уже не застанешь.

Катя смотрела на него и как будто не могла решиться, потом повернулась, распахнула дверь, каблук ее подвернулся; вновь обретя равновесие, она вышла. В коридоре раздавался стук каблуков, шаги удалялись, становились тише — девушка спускалась по лестнице, потом все стихло. Через несколько секунд хлопнула дверь подъезда. Потом ее фигура внезапно появилась под окном; посмотрев направо и налево, Катя перешла через улицу. Уже на другой стороне она повернула голову, нашла глазами его окно, откинула назад волосы (крошечная шпилька упала на землю, отскочила и осталась там лежать); девушка ми-

новала полицейского, по-прежнему чистившего фуражку, тот на секунду прервал свое занятие, провожая ее взглядом; Катя ускорила шаг, так что ее пальто раздулось на ветру, свернула за угол и исчезла из поля зрения.

Вдоль линии горизонта медленно тянулся вертолет. Раздался щелчок, и на улице зажглись фонари, озарив сумерки светом. На ковре рядом со скрюченными спичечными останками виднелось маленькое черное пятнышко.

Давид огляделся по сторонам. Входная дверь по-прежнему была открыта. На стене в общем коридоре осыпалась штукатурка, обнажив каменную кирпичную кладку, которая оказалась на редкость отвратительной. Давид закрыл дверь, два раза повернул ключ в замке и повесил цепочку. Зажег свет, темнота за окном сменила мягкие сумерки. Сел на кровать.

Дверь как будто приоткрылась? Нет, конечно же нет, это невозможно. Или — он просто уже спал. Давид подумал и пришел к выводу, совершенно определенному: он действительно спал. Теперь, несмотря на замок и цепочку, дверь в самом деле отворилась. Вошла сестра.

Давид резко открыл глаза. Он и впрямь лежал на кровати. В одежде, даже в ботинках. Дверь

была заперта, лампа на потолке светилась бледно-желтым светом. Глаза снова закрылись.

Дверь нараспашку, сестра смотрела на него, по крайней мере в его сторону, но каким-то отсутствующим взглядом. Обеими руками она подавала знаки. Быстро и отрывисто жестикулировала, показывая на окно. Трясла головой.

Давид открыл глаза. Он чувствовал слабую, но ощутимую боль в области сердца. Потянулся за ингалятором, наполненным чем-то холодным, это успокаивало. Его взгляд блуждал по пустой комнате. Он снова закрыл глаза.

Губы сестры шевелились. Она пыталась что-то сказать, но ничего не получалось, неизвестно, по какой причине это было невозможно. Она стояла на одной ноге и старалась удержать равновесие. Потом, как ребенок, стала подпрыгивать, и тут он сообразил, что она на самом деле была ребенком, ребенком с перерезанным горлом, который во что бы то ни стало хотел ему что-то сказать. Сестра вытянула руки и прошлась колесом через всю комнату, от открытой двери до окна. Чтобы лучше видеть, Давид попробовал приподняться, но именно этого делать не следовало: движение тела что-то нарушило, глаза сами собой открылись, дверь была заперта, он лежал один.

Глухая притуплённая боль в области сердца давала о себе знать, как будто на грудь давил тяжелый предмет. Давид поднес ингалятор ко рту, нажал на колпачок и сделал вдох. Потом встал с кровати.

Взял телефонную трубку и набрал номер. Через несколько секунд на другом конце послышалось:

— Да?

— Катя, это я. Извини за вопрос, он, возможно, покажется тебе несколько странным! Ты приходила сюда?

— Давид, ты о чем?

— Пожалуйста, ответь! Я только что видел сон и точно не знаю, с какого момента он начался. Между нами был странный разговор, между мной и тобой, и я сказал кое-что… Ты приходила?

— Тебе действительно нужно проспаться. Уже довольно поздно и…

— Подожди! — взмолился он. — Я только хочу знать…

— Спокойной ночи!

Она повесила трубку. Некоторое время он неподвижно стоял, слушая отрывистые гудки. Ни спички, ни пятна на полу не было. Медленно протянув руку, Давид нажал на рычаг и набрал другой номер.

— Марсель, — сказал он, — мне очень жаль, но это срочно. Садись в машину и приезжай! Объясню тебе по пути. Приезжай немедля!

XI

Белые полосы посередине дороги стремительно выскакивали из темноты, вытягивались и исчезали под капотом. Кроме них, были различимы лишь столбы с левой стороны, небольшие куски асфальтово-серого пространства, выхваченного фарами, и время от времени — огни других автомобилей. На небе ни звездочки, и деревья на обочине превратились в сплошную стену пролетающих мимо теней.

— Семь тысяч, — произнес Давид.

— Чего?

— Семь тысяч столбов. Расстояние между столбами тридцать три метра. Точнее, тридцать три целых три десятых. Отсюда следует, что мы проехали чуть больше двухсот тридцати километров.

— Пожалуйста, помолчи!

Марсель держал руль тремя пальцами левой руки. Волосы его были всклокочены, две пуговицы на рубашке расстегнуты, лицо серое и небритое.

— Сбавь скорость! — попросил Давид.

— Так! — взревел Марсель и ударил по тормозам. — Теперь достаточно! Ты звонишь мне

среди ночи, утверждаешь, что это очень важно и я должен срочно за тобой заехать, так как тебе непременно надо с кем-то увидеться. Или ты мне сейчас же объяснишь, что все это значит, или пойдешь пешком!

Автомобиль съехал на обочину и остановился.

— Мы едем, — медленно произнес Давид, — к Борису Валентинову.

Марсель молчал. Он долго не сводил глаз с Давида. Потом снова завел мотор. Ближайшие столбы пришли в движение, проплывая все быстрее и быстрее, уложились полукругом в поворот, потом в следующий.

— Ты серьезно? — спросил Марсель. — Ты и впрямь думаешь, что тебя преследуют?

— Да.

— И ты ждешь, что я этому поверю?

— Честно говоря, мне как-то все равно.

На некоторое время воцарилось молчание. Давид закрыл глаза, было слышно его ровное дыхание, он как будто заснул. Марсель внимательно смотрел на дорогу.

— Граувальд загремел в больницу, — вдруг заговорил Давид, — через два часа после того, как поговорил со мной, и то, что он умрет, ты думаешь, это случайно?

— Разумеется.

— А авария автоцистерны? А покойник в парке? Это тоже случайность?

— Они-то какое имеют ко всему этому отношение?

По встречной полосе ехал автомобиль с включенным дальним светом: круглые вспышки фар росли и наконец ослепили их. Марсель притормозил, Давид закричал. Зажегся ближний свет, и автомобиль промчался мимо.

— Успокойся! — произнес Марсель. — Что ты такой нервный? Этот Валентинов, он знает, что мы приедем? Ты ему позвонил?

— Нет. Он бы не стал со мной разговаривать. К таким, как он, не так-то легко подступиться.

— Значит, ты вот просто так хочешь его застать?

— Я должен. Я должен заставить его выслушать меня. Если он поймет, тогда это будут знать уже двое, — он посмотрел на Марселя, глаза друга слегка блестели, — а ему-то уж поверят. Сделав поворот в гору, они выехали на автобан. Впереди в двухстах метрах от них показались огни другого автомобиля. Марсель нажал на газ.

— Однажды я написал историю, — начал он, — о мужчине, которому постоянно звонил какой-то

человек. Мужчина не знал, кто это, не имел к нему ни малейшего отношения и вообще не хотел говорить с ним. Но снова и снова…

— Ты же вроде бы завязал с этим!

— Нет, — Марсель задумался, — хотел завязать. Да я и не пишу. Только мысленно. Я мог бы написать. Но забудь!

Марсель дал газ, сила ускорения вдавила их в кресла. Белые шумопоглощающие щиты возвышались вдоль дороги.

— Вторая часть «Приключений»?

— Ничего подобного! Хватило и первой. К черту, забудь!

Машина впереди приближалась. Марсель сверкнул поворотником, поменял полосу и пошел на обгон. На несколько секунд рядом с Давидом оказался водитель другого автомобиля; он был один, но шевелил губами, словно участвовал в их разговоре. Вскоре они оставили его позади.

— Странно, — сказал Давид, — ты видел?…

— Перестань принимать все на свой счет! И больше никогда не спрашивай меня про вторую часть. Ее не будет. Кругом одно честолюбие, борьба, сплошная честолюбивая вонь! Нужно вовремя бросить. Главное — вовремя бросить. Это и тебя касается, с твоей теорией. Даже если она верна,

что с того! Кто-то сидит за столом и десять лет корпит, не разгибаясь, над чем-то только ради того, чтобы получить Нобелевскую премию и пользоваться успехом у женщин. Ты, может, уже замечал, как сразу искажается суть книги после ее *публикации?*

Снова вынырнул вертолет. Он снижался и рос, делаясь все ближе. Вот уже показался пропеллер.

Марсель продолжал держать руль в прежнем положении. Автобан был совершенно прямой, и, насколько хватало глаз, ни одного автомобиля.

— Ты уж, пожалуйста, не спи! — закричал Марсель. — Говори со мной! Иначе я вырублюсь. Слышишь?

Давид не ответил. Его грудь равномерно поднималась и опускалась. Марсель протянул руку, но потом передумал и отвел назад. Включил радио: из динамиков живо полились тихие фортепианные аккорды. Марсель вздохнул. Он глядел на дорогу, на щиты, на дорожные разметки и все новые линии…

Давид тоже слышал музыку. Даже попробовал следовать за ней, и, к его удивлению, это удалось, тогда парившие в воздухе звуки стали частью сна. Он сразу отметил, как четко прослушивалась их связь с числами: одни были близки, другие

чужды друг другу, третьи даже не скрывали взаимной антипатии, этакой арифметической вражды. Казалось, это было упорядоченное время (и проплывавшие где-то за окном столбы вели ему счет), и оно постоянно переигрывалось — сумма чисел и времени; аккорды исчезали, но возвращались снова, возвращались все до единого.

А потом Давид увидел ее. Снова увидел. Она стояла перед ним, слегка наклонив голову, и безучастно смотрела. И Давид знал, он был совершенно уверен, что это не воспоминание, не наваждение, не тень от ее тусклого и мимолетного появления, как обыкновенно бывает во сне, а самая что ни на есть реальность. Сестра была точно такая, как в детстве, но воздействие чуждого потустороннего мира все же сказывалось. Она была моложе. Но знала то, чего не знал никто, знала самое сокровенное и потому хранила молчание. Обмолвись она хоть словом, и случилось бы страшное — Давиду пришлось бы все забыть; и он забывал, каждую ночь, всю жизнь. Откуда взялись эти фортепианные аккорды? Ему захотелось добраться до источника звуков. Воздух вокруг рябил, цвета переливались, смешивались, застывали, словно хотели его удержать. И

действительно удерживали. Он не мог подойти ближе. Аккорды, тиканье и уплывающие, уплывающие столбы, из ночи в ночь. Сестра о чем-то грустила. Место было нечистое. Возможно, именно это она и хотела ему сказать. Столбы, музыка. Девочка даже не улыбалась. Вдруг Давид догадался: она ждала его там, все это время, все эти годы, и вот уже совсем скоро…

— Все! — прокричал Марсель. — Просыпайся!

Давид осторожно приоткрыл глаза. Руль, панель приборов, наклейка на стекле. Запах кожаных сидений. Он проснулся.

— Приехали. Ты дрых почти два часа! Свинство с твоей стороны, не находишь?

Они припарковались к обочине, на грязной, темной и широкой улице, тянувшейся между огромными домами, в которых горело только несколько окон. Вдали загремел гром. Давид посмотрел на часы: стрелка едва перевалила за три. Он открыл дверь и вышел из машины.

В воротах было вмонтировано переговорное устройство и панель с кнопками. В самом верху убористым шрифтом написано *Валентинов.* Давид уставился на табличку: здесь живет он. В этом месте, во плоти, материальный, как всякий человек. Давид почесал затылок и на некоторое

время задумался. Потом нажал кнопку.

Ничего. Снова донеслись раскаты грома. Давид позвонил еще раз.

Раздался щелчок, включился громкоговоритель. И голос — слышимость была на удивление отменная — ответил, перекрывая электронное жужжание:

— Да?

— Я могу подняться? Моя фамилия Малер. Мне нужно к профессору Валентинову.

Динамик жужжал. Давид уставился на него. Динамик жужжал. Марсель отстранил Давида и наклонился к микрофону:

— У вас есть машина?

— Что?

— Мы можем подняться? Речь идет о вашем автомобиле.

Жужжание прекратилось. Щелкнул дверной замок.

— Вот видишь, — сказал Марсель, — это всегда срабатывает.

Лифт был допотопный. Дверь закрывалась не до конца, кабина двигалась медленно, отрывисто, словно набиралась сил перед каждым следующим скачком, сопровождавшимся скрипом. Лифт остановился, и они вышли. Это был самый

верхний этаж с одной-единственной дверью.

— Если он откроет, говоришь ты! — сказал Марсель. — Я тут ни при чем. Если вызовет полицию, я тебя не знаю. Понял?

Дверь открылась. Перед ними стояла маленькая пожилая женщина в рабочем халате. Казалось, у нее не было шеи, ее круглая складчатая голова сидела прямо на плечах. Коричневые сандалии на босу ногу.

— Я хотел бы к нему! — сказал Давид.

— Его здесь нет.

— Это очень важно!

— Его нет.

Марсель выступил вперед:

— Мы все объясним. Госпожа Валентонова?

— Я экономка.

— Нам срочно, действительно *срочно* нужно переговорить с профессором Валентоновым…

— Валентиновым, — поправил Давид.

— С профессором Валентиновым. Речь идет о результатах, очень для него важных. Если его нет, может, вы могли бы дать телефон, по которому…

— Нет, — тихо ответила женщина, — нет, нет. Нет.

Она отступила на шаг и уже хотела закрыть дверь. Но Давид успел подставить ногу.

— Не делай этого! — закричал Марсель.

— Послушайте! — взмолился Давид. — Он мне очень нужен, очень! Дело гораздо важнее, чем вы думаете.

Несколько секунд она смотрела на него, открыв рот, она, казалось, ничего не понимала, но и ничему не удивлялась.

— Хорошо, хорошо, — неожиданно произнесла экономка и медленно направилась в глубину коридора. Давид распахнул дверь и последовал за ней.

— Да ведь и в газете напечатали…

— Что?

— Он выступает с речью. На… На одном кон…

— На конгрессе?

— Да, да. На конгрессе. — Она посмотрела на Марселя. — Теперь вы уйдете?

— Минуточку! — сказал он. — Где этот конгресс?

Женщина уставилась на Давида, потом перевела взгляд на Марселя, потом опять на Давида. В коридоре над столом, где стоял телефон, висело зеркало, рядом с телефоном лежали запечатанные письма, непрочитанная почта На противоположной стене висело другое зеркало, тех же размеров, в такой же металлической блестящей

раме.

— Где-где? — повторяла экономка.

Она повернулась, подошла к столу и взяла одну из газет. Ее фигура, оказавшись между зеркалами, размножилась до бесконечности: на блеклом, стеклянно-бесцветном фоне тысячи выстроившихся рядами старух взяли в руки тысячи экземпляров одной и той же газеты. Экономка не торопилась, словно хотела продлить это мгновение, потом вышла из зеркального поля, слилась, став единой, и направилась к Давиду, протягивая газету. Ее рука заметно дрожала.

— Страница четыре, — сказала она.

Давид развернул газету. С краю, на четвертой странице увидел статью, узкую полосу под названием *«Беседы о технике»*. Тут же бросился взахлеб читать. *«Представители науки, культуры, политики и... говорят о будущем... и о проблеме... гости: министр по делам науки, знаменитый писатель Рон Лебель; директор института... председатель... со вступительным словом выступит Борис Валентинов, лауреат... Открытие завтра в полдень»*.

— Пошли! — сказал Давид. Засунул газету под мышку и пустился бежать. Экономка смотрела ему вслед.

— Премного вам благодарны, — добавил Марсель, — дело действительно очень важное.

— Теперь вы уйдете?

— Конечно. — Марсель вышел в коридор. — Скажите, пожалуйста, как он выглядит?

— Кто?

— Профессор Валентинов.

Рука ее соскользнула на грудь, женщина запахнула халат.

— Я не знаю.

— Но вы же должны…

— Я здесь совсем недавно.

— Но вы же видели его!

— Я не знаю, — твердила женщина, — не знаю.

Она бросила на Марселя испуганный взгляд и захлопнула дверь. Ее шаги удалялись, шарканье постепенно стихало. Марсель продолжал стоять, уставившись на закрытую дверь. Потом поднял руку с намерением еще раз постучать, но, поразмыслив, опустил. Покачал головой, посмотрел на лифт и решил спуститься пешком.

Лестница из серого мрамора была начищена до блеска, шага Марселя отдавались низким гулким эхом, площадки на этажах ничем не отличались друг от друга. Он вышел на улицу, около машины его уже ждал Давид. Снова прогремел гром.

— Ты думаешь, я повезу тебя на конгресс?

— Ну да.

— О господи! Ты *действительно* чокнутый! Сейчас половина четвертого! Ты вообще понимаешь…

— У нас еще есть время…

— Сделай одолжение, получи водительские права или купи билет на поезд! Я не собираюсь… Можешь поехать со мной домой или остаться здесь!

Он сел в автомобиль. Давид стоял на тротуаре и не двигался.

— Черт бы тебя побрал, залезай же!

Давид затряс головой.

— Хорошо, — сказал Марсель, — как хочешь. Пожалуйста. Как тебе угодно!

Он захлопнул дверь и повернул ключ зажигания. Мотор фыркнул и завелся. Машина тронулась с места, стала удаляться и наконец исчезла.

Давид стоял на тротуаре и не двигался. Снова загремел гром. Высокие облака заволокли черное небо. Уличные фонари раскачивались на ветру, по лужам скользили желтые блики света. Стена какого-то дома была полностью завешана рекламой, похожей на ту, что висела и в его краях — по всей стране, с каждой стены смотрели одни

и те же лица гигантских размеров. Одна и та же женщина держала в руке бутылку лимонада, ее ногти, покрытые темно-красным лаком, сверкали в темноте, а смеющиеся глаза над самым горлышком бутылки неизменно встречались с глазами Давида. На свет фонаря вынырнула стрекоза и тут же исчезла. Давид стоял как вкопанный.

Рев мотора нарастал; машина, идя задним ходом, приближалась. Потом затормозила. Стекло опустилось.

— Садись!

Давид даже не повернул головы. Уже совсем сильный гром прокатился над крышами.

— Да садись же ты, идиот! Радуйся, что я вернулся!

Давид открыл дверь и сел в машину. Марсель молча тронулся с места.

Улица плавно перешла в другую, затем в следующую; гроза была теперь совсем близко, и гром гремел все чаще и чаще. Светящиеся вывески сменяли друг друга: на одном доме, прямо над входом, сидела голая женщина из красных огней и пыталась болтать ногами, но некоторые лампочки перегорели, и между вспышками были видны только нервные подергивания. Из заведения вываливались какие-то люди; оказавшись

на свежем воздухе, они уже не смеялись и поднимали глаза к небу. Дома быстро редели. Щит указывал направление к автобану.

— Тебе повезло, — сказал Марсель.

— Почему?

Марсель кивком показал на стекло. Лил дождь. Шмыгали дворники, на стекле разворачивалось водное действо, на дороге откуда ни возьмись появлялись маленькие круги и тут же пропадали, их становилось все больше и больше, они возникали и исчезали снова.

— Ах да, — протянул Давид, — да. Спасибо!

— Вот это уже лучше. Можешь спать дальше.

Чем меньше домов попадалось навстречу, тем больших размеров они были; оставив позади несколько фабричных корпусов, уткнувшихся в небо черными трубами, они снова выехали на автобан. Марсель нажал на газ, мотор заревел. Деревья справа и слева, не отличимые друг от друга, превратились в какое-то плетеное изделие.

На небе образовалась трещина. Острая и зазубренная. То была первая молния.

Раскаты грома волнами надвигались на них, разражаясь и снова стихая. Они ехали как раз туда, где время от времени мелькали молнии и откуда все сильнее грохотало. Вдоль линии элек-

тропередач плясали голубые искорки. Следующая вспышка оказалась еще ярче и на мгновение озарила их светом.

— Черт подери, — выругался Марсель, — в такой переплет я еще не попадал!

Теперь молнии хлестали со всех сторон и почти без перерыва. Словно это был уже не гром, а постоянный, не смолкающий грохот; он раздавался отовсюду, наполнял собой каждый миллиметр воздуха. Марсель сидел, обхватив руль руками, Давид прислонился лбом к стеклу. Молнии сверкали справа и слева, словно живые вытягивались на небе, удаляясь от земли в наэлектризованную ночь.

— Похоже, нам следовало… — Марсель не договорил.

Грохот чудовищной силы застиг их врасплох. По автомобилю пробежали белые искры, яркая вспышка ослепила их, Марсель закричал. Дорога стала ускользать, развернулась, потом еще раз, искры брызгами разлетались во все стороны; потом все стихло, шум прошел и свечение тоже. Пустынная дорога погрузилась в темноту.

Некоторое время они сидели, не говоря ни слова и не решаясь пошевелиться. Что-то было не так, словно произошло смещение перспективы. Ма-

шину развернуло на сто восемьдесят градусов.

Вот уже снова донеслись раскаты грома. Молнии редели, теряли силу, приближались к городу.

Марсель поднял руку. Та сильно дрожала. Потянулся к ключу зажигания, но промахнулся, стал искать на ощупь. Но отвел руку. Необходимости не было: мотор по-прежнему работал. Марсель нажал педаль газа. Автомобиль медленно тронулся с места. Марсель стал разворачиваться. Ни одной машины вокруг. Словно они были единственные люди на всем белом свете.

— Это была… — прошептал Марсель, — это была… Я еще никогда…

— Вторжение электрического поля… — Давид закашлялся, протер глаза, — в… окруженное проводником пространство невозможно. Это общее правило.

Марсель посмотрел на него.

— Это действительно все, что приходит тебе на ум?

За их спинами еще слышались громовые раскаты, но уже приглушенные и вполне безобидные, время от времени в зеркале заднего вида еще мерцали отдельные вспышки. Марсель дважды переключил передачу, стрелка на приборе под-

нялась, и они набрали прежнюю скорость.

— Пока работает, — тихо сказал Марсель, — все в порядке.

— Разумеется.

— Ты не против, если мы… Если мы просто забудем эту ночь? Все, что случилось со вчерашнего дня? Мы поедем на твой конгресс, но больше не будем об этом говорить. Согласен?

Давид кивнул.

— Тогда сделай мне еще одно одолжение.

— Какое?

— Я знаю, это будет нелегко. И с моей стороны это бестактно. Но я просто не в состоянии сейчас с тобой разговаривать. Не могу. Пожалуйста, постарайся заснуть!

XII

Деревня, где стояли старые дома и несколько недавно отстроенных гостиниц из стекла, раскинулась на берегу озера в глубине своеобразной чаши, образованной из рассеченных ущельями гор. На самой высокой из них был ледник, похожий на остроконечную пирамиду. Отвесная скала, на которую падали солнечные лучи, отражала тепло, благодаря чему вдоль озера и росли тропические растения, посаженные и выхоженные специальным садовником; здесь жили чайки и два лебедя, разжиревшие от постоянного подкармливания отдыхающими. В деревне была старая церковь и несколько магазинов, а также бюро по обслуживанию туристов, через него часто устраивались различные мероприятия, о которых писали газеты и которые иногда даже показывали по местному телевидению. Так и сейчас: перед самой большой гостиницей стоял огромных размеров автомобиль с радиотрансляционной установкой. Отсюда вела дорога к двум другим отелям поменьше и к церкви, застроенной лесами и почти невидимой, потом она сворачивала за выступавшую вперед скалу и,

петляя, шла к горному перевалу, со стороны которого, поблескивая на солнце, катился велосипед.

— Прекрасный вид, а? — вздохнул Марсель. — Жаль, что я не в отпуске и должен сидеть сейчас в конторе. Боже мой, я далее не завтракал и не брился и…

Он вздохнул. Под его глазами чернели круги, лицо было бледное и замученное.

— Это происшествие с молнией не должно тебя удивлять, — заметил Давид. — Совершенно исключено… даже если оказаться в самом эпицентре грозы. Поверь, есть явления куда более необычные…

— По-моему, мы договорились!

Давид держал руку козырьком, солнце так ярко отражалось в многочисленных окнах огромного здания, что решительно ничего не было видно: четырехугольник слепящего света на берегу озера, покрытого солнечными бликами. Они накручивали круги по серпантину, деревня выплывала то справа, то слева; гостиница приближалась и росла.

— Какие, собственно, у тебя планы? Ты собираешься пойти туда, вытащить его с конференции и заставить выслушать?

— Да, — ответил Давид, — вот именно.

Его глаза казались больше обычного, они как будто слезились и странно блестели. Мелькнул указатель с названием местечка. И вскоре они уже ехали мимо домов (на одном балконе лежала почти голая женщина, на другом восседало за столом семейство, на третьем мужчина грыз яблоко). Справа на секунду показалась мощеная набережная, ребенок грохнулся с велосипеда, скривил лицо и заревел. Марсель припарковался за радиопередвижкой.

— Ну, — сказал он, — успехов!

Давид кивнул и вылез из машины. Поток теплого воздуха хлынул ему в лицо. Сердце забилось в неверном, выбивающемся из ритма темпе. Давид схватился за грудь и прислушался: нет, все в норме. Запрокинул голову. Гостиница представляла собой башню, в которой отражались горы, небо и озеро. Стеклянные двери с шумом распахнулись, пропустив его в холл.

На полу лежал ковер со сложным разноцветным узором; в регистратуре сидел человек и читал газету. На несколько мгновений ковер привлек внимание Давида; присмотревшись и установив, что его узор достаточно прост, он тут же забыл о нем и направился к служащему.

— Где проходит конгресс?

— Конгресс, — повторил мужчина, не поднимая головы, — конгресс?

Давид взял у него из рук газету, открыл четвертую страницу и молча ткнул пальцем в статью. Человек стал читать, закрыв один глаз и облизывая губы.

— Да, верно, — согласился он, — коллоквиум. Прямо по коридору, большая дверь.

Давид развернулся и пошел. В конце коридора показались две двери. Он выбрал правую. Теплый, влажный, насыщенный хлоркой воздух, белый кафель, пляшущие солнечные зайчики на потолке, наполненный водой голубой четырехугольник, лысый фыркающий толстяк, бассейн. Давид закрыл дверь, рванул другую.

И сразу зажмурился. Зал оказался на удивление крошечный. Дальняя стена сплошь из стекла. Огромное солнце, висевшее прямо над ледником, освещало все вокруг, и на мгновение Давид почти ослеп. Постепенно зрение восстановилось. Давид разглядел кафедру с микрофоном, впереди стулья, восемь или девять рядов, все заняты; гораздо меньше, чем он ожидал. За кафедрой стоял человек. Сердце сделало перебой — все вокруг как будто подпрыгнуло.

— Извините!

Человек поднял голову. Среди присутствующих послышался ропот неодобрения. Кто-то встал.

— Мне нужно с вами поговорить!

Давид потер глаза, но это не помогло. Из-за солнца он видел лишь темную фигуру, озаренную светом.

— Да, пожалуйста?

Давид устремился к окну, за которым вырисовывались очертания гор, белизна ледника и насыщенная синева озера, потом обернулся и посмотрел на мужчину уже при нормальном свете: да, он знал это лицо! Круглое и безбородое, с толстыми щеками и седыми волосами; человек, прищурившись, смотрел на него.

— Что вам угодно?

Еще один перебой сердца, они становились все чаще. Неизвестно откуда Давид знал этого человека, это же… И тут он спохватился.

— Где Валентинов?

— Ушел полчаса назад, — ответил министр по делам науки. — А вы по какому вопросу?

Из первого ряда поднялся человек, очевидно распорядитель, и, опустив голову и сложив руки, направился к Давиду.

— Господин, — тихо сказал он, — не будете ли вы так любезны…

В углу у окна стояла телекамера, направленная на трибуну, за ней — скрюченный человек смотрел в объектив. Ну, конечно же, если здесь был министр, его речь транслировалась по региональному телевидению, канал могут принимать тысячи аппаратов, и кто-нибудь да поймет, увидит, возможно, это будет только один человек. Давид решительно шагнул вперед, к кафедре.

— Я должен кое-что сказать. Всем… вам.

Голова закружилась, пол как будто слабо задрожал, Давид схватился за кафедру.

Глаза уже привыкли к яркому свету. Люди впереди внимательно следили за ним, некоторые повскакали со своих мест, какая-то женщина трясла головой и тяжело дышала.

— Прошу вас, — твердил распорядитель, — пожалуйста, покиньте!..

Министр сделал шаг вперед, протянул Давиду руку и снова отступил, его лицо покрылось красными пятнами. В дверях стоял Марсель и подавал какие-то знаки; из-за его спины высовывался, посмеиваясь, мужчина из регистратуры. Но камера работала и была направлена на него.

— Мы бы уже давно сделали это открытие. Нас ввели в заблуждение, или… Или же мы сами заблудились. Возможно, к точно таким результа-

там уже приходили другие, но… их вовремя… Я кое-что открыл.

Давид чувствовал, как смотрят на него глаза, и их было гораздо больше, чем число присутствующих в зале; он чувствовал, как каждое его слово, умноженное во много раз, рассылается дальше; чувствовал, как все стремительнее приближается какое-то существо, оно уже завидело его и вот-вот появится здесь… вот-вот, и нигде никакого укрытия. Давид продолжал говорить. Он заметил, как изменились лица людей, когда он дошел до вычислений, женщина еще сильнее затрясла головой, ее сосед вымученно улыбался, министр кивал кому-то, Марсель закрыл лицо руками. Распорядитель потянул Давида за рукав, но тот крепко держался за пульт и, чтобы заглушить нараставший шум, старался говорить как можно быстрее и громче. Его левая рука онемела, пальцы больше не чувствовали деревянную поверхность. Он закрыл глаза. Увидел в темноте слабое свечение. Наклонился ниже к микрофону. Вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку и изо всех сил вцепился в пульт.

— Прежде всего четыре формулы, — кричал он. — Каждая выводит последующую, самая важная четвертая. Переменные уже определены…

Плечо сжимали все сильнее, распорядитель что-то кричал, откуда-то доносился смех. Давид крепко, двумя руками держался за кафедру, по крайней мере он надеялся, что их было две, так как левая онемела, и он точно не знал, слушалась ли она. Из-за приступа кашля дыхание на мгновение прервалось. Голос хрипел, но еще не сел окончательно. Давид приступил к первой формуле.

XIII

И почувствовал, как что-то несется на него, все быстрее и быстрее, как никогда, подгоняемое им же самим, а также угрозой, исходящей от того, что он тут говорил, что не говорил еще никто и никогда за историю всех столетий и чего наверняка никто не скажет в будущем.

Давид слышал свой голос. Чувствовал, как его слова преображаются и уносятся все дальше. Под воздействием электрического поля, которое окружает Землю. Как заполняют атмосферу своим электрическим излучением, как звучат повсюду в зашифрованном виде, с легким потрескиванием, завлекаемые в леса городских антенн. Все это происходило сейчас, именно сейчас, да так стремительно, что само время оставалось в дураках.

Первое уравнение. Он чувствовал, что-то двигалось навстречу, на той самой улице, по которой его сюда везли: деревья смазались в сплошное зеленое пятно. Дома сливались с землей, облака образовали смесь голубого и белого. Он видел это совершенно ясно.

Второе уравнение.

Мир превратился в сплошное мелькание,

солнце окрасилось в фиолетовый цвет, все растворилось в скорости. Откуда-то доносились крики, чьи-то руки хватали Давида и пытались оттащить, но это были уже мелочи, просто очередная попытка его остановить, ничего больше. Второе уравнение.

Зал завибрировал, вибрация стала расти, расходясь кругами, словно волны на воде, от того самого места, где он стоял. На мгновение Давид увидел себя со стороны, себя, озаренного солнцем, и это было отвратительное зрелище, кружившее голову, ему казалось, будто разверзлась настоящая бездна, засасывавшая все живое… Круги по-прежнему расширялись, вибрация уже коснулась ближайших созвездий; где-то сорвался взрыв газового облака, и планета безымянной солнечной системы возвратилась на свою орбиту. Время растворилось. Пора было закругляться.

Оно приближалось. Давид раскрыл все карты, и теперь увиливать не имело смысла. Вот-вот должно появиться то, что преследовало его всю жизнь. Сейчас. Надо идти до конца. Надо сказать все.

XIV

Давида стащили с кафедры — один справа, другой слева, выкрутили руку за спину, но он вцепился другой в бортик и написал до конца вторую формулу. Потом пальцы разжались. Камера еще следила за ним; приступая к третьей формуле, Давид кричал изо всех сил, чтобы сократить все увеличивающееся расстояние между ним и микрофоном. Министр кивнул, снова вышел вперед и начал говорить. Но Давид не унимался, зал проплывал мимо, его каблуки стучали по полу, солнце сверкало пуще прежнего, озаряя светом гигантское окно. Камера все еще сопровождала его, все еще… но потом была переведена обратно на кафедру, на министра.

— Нет! — закричал Давид. — Вы должны… Выслушайте меня!

Один из конвоиров закрыл ему рот рукой; в течение секунды Давид еще видел раздраженные и ничего не понимающие лица сидящих в зале, потом его выставили, и дверь захлопнулась перед самым его носом.

Хватка ослабла. Перед ним стояли двое, мужчины, скорее добродушного вида, на одном из

них, очевидно служащем отеля, была ливрея. Давида повели по коридору, мимо регистратуры, к выходу. Он больше не оборачивался.

— Куда вы его ведете? — услышал он голос Марселя.

— Я думаю, — сказал один, — нужно вызвать полицию…

— Прошу вас, — ответил кто-то, — в этом нет никакой необходимости! Этот человек совершенно безобиден. Он просто сумасшедший.

Давид попробовал повернуть голову, но ничего не вышло, его держали слишком крепко.

— Да будет вам! Просто вышвырните его.

Поразмыслив несколько секунд, охранники вытолкнули Давида. Тот, шатаясь, вышел на улицу, в самое пекло.

— Чтобы духу вашего здесь больше не было. Понятно?

— Он все понял, — ответил за него голос. — Не беспокойтесь!

Мужчины кивнули и скрылись внутри гостиницы. Давид обернулся. За ним стоял человек из регистратуры. И улыбался.

— Неплохая попытка. Серьезно, очень даже ничего!

Лицо его показалось Давиду знакомым. По-

желтевшие зубы со щербинкой впереди. Он отбрасывал узкую тень на земле.

— Пошли! Мы едем домой. Большое вам спасибо, очень любезно с вашей стороны! — сказал Марсель и полез в карман.

— Нет, прошу вас! Ничего не надо! Нет! Нет! Это моя работа. — Он посмотрел на Давида. — Уже собираетесь ехать?

Давид кивнул.

— Во всяком случае вы прославились! Милое выступленьице. Именно ради него вы и забрались сюда?

— Я хотел встретиться с одним человеком, с Валентиновым, но он уже…

— Да, он только что отбыл. Я сам бронировал для него билет. Его поезд отходит через полчаса.

— О господи! — воскликнул Давид. — Где здесь вокзал?

Мужчина медленно поднял левую руку, вытянул указательный палец и показал на здание на другом берегу озера.

— Откуда я вас знаю? — спросил Давид.

— Меня многие знают.

Их взгляды встретились. Давид открыл рот, некоторое время он как будто колебался, но так ничего и не сказал. Повернулся и заспешил прочь.

Он пытался даже бежать, но нога не слушались, к тому же левая рука совершенно онемела. Воздух был теплый и вязкий, как жидкость. В груди что-то ныло.

Его догнал Марсель.

— Ты уже выставил себя идиотом, теперь достаточно? Что теперь? Что ты собираешься еще учудить?

— Скорей! — задыхаясь, ответил Давид. — Беги на вокзал!

— Тебе нужно к врачу, у тебя ужасный вид!

— Сказано тебе, беги!

— Я даже не знаю, как Валентинов…

— Он маленький, в очках и с бородкой. Да беги же!

Марсель покачал головой, посмотрел Давиду в глаза и… побежал. Он удалялся в сторону вокзала. Солнце словно выросло и светило теперь так ярко, что все кругом расплывалось. Пот катился по лицу Давида. Боли в груди усиливались и ослабевали, снова усиливались и снова ослабевали, в четком ритме. Он достал из кармана ингалятор, направил ко рту, сделал вдох — не помогло. Впрыснул еще раз. Снова никакого эффекта. Отшвырнул пузырек, тот с металлическим звуком ударился о землю и покатился.

Давид не останавливался, но продвигался вперед очень медленно. Не то сам воздух удерживал его, не то земное притяжение было сегодня сильнее, а может, нестерпимая жара затрудняла движение. Сердце неистово колотилось, дыхание прерывалось. Боли усиливались. Он уже шел вдоль магазинов, в витринах лежали ожерелья, трости, часы, снова ожерелья. Люди глазели на них через стекло, мимо промчался на велосипеде ребенок. От асфальта поднимался пар, на небе ни облачка. Вот еще одна витрина с часами: дюжина круглых тикающих предметов, резкие скачки бесчисленных стрелок, следующих за секундами — все напоминало большие гонки. Давид застонал, какая-то женщина изумленно на него посмотрела. Он как будто пошел быстрее. Но нет, это только показалось. Несмотря на жару и досадно медленную скорость, несмотря на свой вес и мучившие боли, Давид бесстрашно продвигался вперед. Вокзал приближался.

Солнце выросло еще больше. На стенах домов колыхались блики озера. Мимо проехала косилка, Давид отпрянул в сторону, и на секунду его одурманил резкий запах свежескошенной травы. Дальше.

Поворот, еще один, вперед по дороге. Возле

кафе за ослепительно белыми столиками сидели люди и разговаривали, гремя посудой, поднимая и опуская чашки. Было больно дышать, Давид попробовал задерживать воздух, но надолго не получалось, его настигал приступ кашля. Хотелось пить.

Вот показался вокзал. Три ступеньки вели в пустой зал ожидания. Два окошка, киоск с газетами и сигаретами. Давид вышел на перрон.

— Ну наконец-то!

Марсель сидел на скамейке, закинув ногу на ногу, с сигаретой в зубах.

— Девушка в окошке сказала, что кто-то, похожий на Валентинова, спрашивал у нее, когда отходит поезд и есть ли еще время прогуляться вдоль озера. В маленьких деревушках свои преимущества, нам только нужно дождаться, когда профессор вернется. Присаживайся, ну и видок у тебя!

Давид прислонился к стене. Та показалась ему мягкой, почти резиновой. Посмотрел на рельсы: две блестящие прямые набегали друг на друга и исчезали в черном горле туннеля, так что точка их пересечения оставалась вне поля зрения. Только через несколько секунд он заговорил:

— Нет, мы не будем ждать. У нас нет…

В сердце кольнуло так сильно, что он едва не закричал. Потом резко повернулся и, пройдя через зал, снова оказался на улице. Марсель отбросил сигарету и побежал за ним.

Узкая лестница вела от тротуара к берегу. Давид крепко ухватился за перила и стал осторожно спускаться, шаг за шагом, ступенька за ступенькой.

— Ступай налево, а я направо. Если его увидишь, зови меня!

— Но в этом нет смысла! Мы подождем здесь! С какой стати я должен куда-то ходить?

Давид остановился. Перед ним расстилалось озеро. Синяя плоскость, отбрасывающая полосатые блики света. Шум волн, бьющихся о камни. Давид развел руки, почувствовал идущую от воды прохладу, сделал глубокий вдох, снова дышалось свободно.

— Потому что я тебя прошу, — ответил он. — И потому что ты мне веришь.

— Не верю ни единому слову.

Марсель всплеснул руками, повернулся и пошел прочь. Давид смотрел ему вслед, но уже через несколько секунд тот скрылся из виду, растворившись в ярком свете.

Дорожка вела прямо и была добросовестно

выложена. Слева раскинулось озеро, справа — пальмы и диковинные разноцветные растения, привезенные из дальних стран. Нервно раскачивалась на ветру орхидея. Давиду еще никогда не доводилось видеть такого огромного солнца. Слабо вырисовывались очертания гор, цветы тянулись прямо к нему. Какое-то растение с шипами, длинные высохшие листья которого трепетали словно живые, пробудило в нем смутные воспоминания, но они стерлись, как только цветок остался позади. Ребенок на велосипеде обогнал Давида. Женщина остановилась и показала на него пальцем.

— Это вы! — воскликнула она. — Вас же только сейчас по телевизору!.. Правда?

— Правда, — ответил Давид и побрел дальше. Он как будто плыл в теплом тумане. Теперь уже каждый вдох сопровождался болью. Озеро действовало успокаивающе, особенно холодный блеск воды и мысль о том, что в любой момент можно броситься в эту воду, готовую принять любого и предоставить надежную и верную защиту, раз и навсегда.

Быть может, больше никому не удастся найти то, что нашел он; быть может, это единственный шанс, дарованный только ему. А что если (Давид

почувствовал такую острую боль слева в груди, что чуть не упал, но падать сейчас он просто не имел права, ибо тогда — и это он ясно осознавал — ему больше не встать) — что если он действительно заблуждается? Поставив правую руку козырьком, Давид снова увидел дорогу и определил, куда идти; пот бежал по лицу, рубашка прилипла к телу, он встряхнул левую руку, но не почувствовал ее. Допустим, но если это ошибка, то почему же его хотят убить?

Он подумал о камнях, которые всегда падают вниз, о том, что никогда не мог понять, почему они не летят вверх; таинственная сила притяжения и все те законы, благодаря которым существовала материя; почему они всегда его так пугали?… Волна сильнее остальных залила камень прямо перед ним и в ту же секунду исчезла. Давид собрался с духом. Преодолевая боль, усталость и тяжесть собственного тела. Возле пальмы рос еще один цветок с высохшими листьями. На мгновение в голове Давида мелькнула залитая голубым утренним светом комната, подкрашенная ужасом перед очередным кошмаром, но картина растаяла, прежде чем он узнал ее.

Идти оставалось недолго. Он чувствовал это. Теперь дорога казалась неровной, все чаще по-

падались рытвины. Две чайки спланировали на воду. Тени исчезли. Ледник отражался в озере. Садовник в соломенной шляпе ковырялся в земле возле самой дороги. На крыше отеля развевался желтый флаг. Утка нырнула в воду, крякнула и поплыла прочь. Впереди, объятая ярким светом, нарисовалась человеческая фигура, постепенно она становилась все более отчетливее: навстречу двигался мужчина, держа руки в карманах и запрокинув голову. У него была острая бородка и зеркальные очки — два круглых стеклышка, окрашенные водой в синий цвет. Борис Валентинов.

Давид вскрикнул, садовник поднял голову. Давид прибавил шагу, теперь это далось легко. Вытянул руки и побежал. От волнения пульс его участился. Еще сто, нет, сто семнадцать шагов (он точно видел) отделяли его от цели, только бы сохранить скорость. Утка нырнула, разрушив отражение ледника. Еще семьдесят пять шагов. Отражение восстановилось. Валентинов замер на месте. Шестьдесят пять.

Вдруг что-то метнулось к нему. С неба, из самой середины голубого свода что-то бешено понеслось вниз, Давид почувствовал это всем своим телом. Шестьдесят шагов.

И беззвучно приземлилось прямо перед ним. Земля задрожала, из озера поднялась волна и разбилась о каменистый берег, флаг надулся и затрепыхал на мачте. На мгновение показалось, что пошел искристый дождь из сверкающих огненных точек.

Давид остановился. Он больше ни шага не мог ступить в том направлении. Человек виднелся совершенно отчетливо, но очертания изменились, и Давид пока не узнавал его. Давид смотрел, как сквозь него медленно, улыбаясь, проходил Валентинов. Ребенок на велосипеде развернулся и порулил обратно. Очертания прояснились, и Давид разглядел человека во всех подробностях. Он смотрел. Страх отступил, Давид не чувствовал ни боли, ни даже усталости. Время истекло. Его нашли.

XV

В груди словно что-то разорвалось. Боль пронзила его, разлилась по всему телу, наполнила собой все вокруг, весь мир и — прошла. Он упал. Упал на колени. Раскрыв для объятий руки. Фигура снова расплылась: стала прозрачной, растворилась, впереди был только Валентинов, он быстро приближался, лицо выражало испуг. И конечно же, озеро и небо, и снова озеро — одно отражало синеву другого. Камешки впивались в колени, но Давид не чувствовал боли. А цветок, вон там, как он сверкал и как дрожали на ветру его листочки. Солнце и свет, запечатленный в бесчисленных отражениях.

Давид видел, как приближался Валентинов, как бежал, будто преодолевал загадочное сопротивление. Давид видел, как утка, сложив крылья, рассекала воду, утка без головы, и казалось, что вторая утка, с головой, последовала за ней вниз. Видел, как в глубине озера голубка бороздила воды, другая же, отражение первой, парила в воздухе, поднимаясь все выше на ледник.

Давид содрогнулся всем телом. Заметил, но не почувствовал, как его ладони ударились о землю.

О запятнанную светом землю, еще влажную от последней высокой волны. А как же открытие? Самый конец, уравнение, которое он не назвал, без которого все остальное не имело смысла и которое, кроме него, больше не знал никто? Он открыл рот, но голос пропал. Истекало и время: секунды убегали, вероятно, последние его секунды, может, еще одна, одна-единственная. Земля приближалась. В маленькой луже барахтался муравей.

Давид не слышал больше ни звука. Еще ни разу, хотя нет, только однажды его окружала подобная тишина. Синева: заключи она кого-нибудь в свои объятия, и наступит покой, и все исчезнет. Вдруг Давид понял.

Диск солнца стоял в воде. В хороводе чаек. У подножия устремленных вглубь гор. Туда?…

Он все понял и хотел с кем-нибудь этим поделиться. Но было слишком поздно. Да и не так уж необходимо. Муравей добрался до берега лужи, вскарабкался на камешек и побежал. Оставляя за собой тонкий мокрый след.

Давид всем телом рухнул вниз и стукнулся головой о землю, сила удара перевернула его на спину, и он увидел, как опрокинулись небо и огромных размеров солнце, только теперь оно

не сверкало. И желтый флаг. И две головы: одна в соломенной шляпе, другая — в очках, с острой бородкой и бесцветными глазами. Какое-то из этих лиц он в свое время знал. Или хотел узнать. Но уже не мог сказать, какое именно.

Солнце перекрывало теперь половину неба. Ледник казался ближе. Чайка описала почти безупречный круг. Давид еще успел догадаться, что то было уже другое солнце, другой ледник и другая чайка: вывернутые на другую сторону отраженной поверхности. В одну секунду он оторвался от земли и полетел в пропасть, голубое пространство приняло его, и, когда он погрузился в небесную глубину, в это самое мгновение его глаза закрылись, он уже ничего не видел, и последняя, уже немного искаженная и принадлежащая иному миру мысль бесследно растворилась, словно ее никогда не было. Словно его никогда не было.

XVI

Солнце, отражаясь в озере, окрашивало горы в красный цвет. Над водой плясал рой комаров. Марсель бросил сигарету. Огненная дуга, которую та описала, висела в воздухе еще мгновение, после того как сигарета уже потухла в воде.

Марсель сделал глубокий вдох. Становилось прохладнее. Волны равномерно бились о камни. Скамейка, на которой он сидел, была жесткой, спина болела. Марсель только хотел немного отдохнуть, но, по всей вероятности, задремал. Ему приснился странный сон: маленькая девочка пристально смотрела на него, она не сводила с него глаз и ничего не говорила, а потом вдруг развернулась и пошла, очень медленно, делая маленькие шаги, тогда он заметил стрекозиные крылышки… Еще никогда он не видел ничего подобного. Но сегодня были необычные обстоятельства.

Давида увезли в черном катафалке. Сначала приехала «скорая», но санитары сказали, что имеют дело только с живыми. Ребенок, узнав человека из телевизора, начал громко и весело смеяться. Испуганная мать тут же его увела.

Сбитый с толку полицейский пытался что-то вызнать. А еще мальчишка на велосипеде, который всем попадался на пути. Неизвестно откуда появился даже министр по делам науки, краска еще не сошла с его лица, он то и дело оглядывался по сторонам, потом шепнул что-то полицейскому и исчез. Через несколько минут показался черный автомобиль, и два учтивых господина забрали труп. Но самым досадным была муха, которая так и норовила сесть Давиду на лицо и при этом низко и довольно жужжала, и отогнать ее казалось просто невозможно.

Марсель поднялся. Почувствовал, как затекли ноги и руки, сделал несколько шагов, но лучше не стало. Когда в последний раз ему приходилось спать на скамейке?

Скоро надо было ехать. Сначала он думал переночевать здесь, но потом понял, что не хочет, что ни одной лишней секунды не хочет здесь оставаться. Не считая получасового сна на скамейке, он уже двое суток не смыкал глаз, а ведь еще предстоял долгий путь. Марсель направился по улице в ту сторону, где припарковал автомобиль. Влажная блестящая мостовая отливала красным, от воды цвета крови веяло теперь враждебно, мерцали отвесные скалы. Позади остались клум-

ба с орхидеей, двуглавая пальма, в сумерках казавшаяся почти зловещей, мужчина, который спокойно стоял, опираясь о трость, и любовался через очки закатом солнца.

Марсель остановился. Подошел ближе, но его как будто не замечали.

— Господин Валентинов?

Человек перевел на него взгляд и кивнул.

— Я разыскивал вас. Целый день. Собственно не я, а… мой друг. Сегодня после обеда с ним случился инфаркт.

— Доктор Малер, — сказал Валентинов, — я знаю. Я видел. Я сам вызывал «скорую». Вот и на поезд опоздал и… Но теперь это уже не важно.

— Ну и как?

Последние лучи света озарили профессора, выделив его узкий силуэт. Он опустил голову и принялся рассматривать набалдашник трости.

— Что вы имеете в виду?

Что-то в этом человеке, в его взгляде, вызывало у Марселя доверие.

— Он еще мог говорить с вами?

Валентинов посмотрел на трость, словно в ней содержался ответ. Потом покачал головой. Продолговатое насекомое отделилось от пальмы и на несколько секунд зависло в воздухе прямо

перед ними.

— Он ведь за тем и приехал сюда, не правда ли?

— Да, — подтвердил Марсель, — за этим.

— Из-за своей теории времени? Второе начало?

— Откуда вам известно?

За их спинами прошла женщина с коляской, из которой доносилось недовольное бурчание. Валентинов с любопытством обернулся.

— Вчера вечером я получил с посыльным записи доктора Малера. К тому же, насколько мне известно, он недавно выступал с докладом. Я был на нем, сидел в последнем ряду, но довольно скоро ушел. Маленький скандал, об этом потом одно время говорили. Некоторые даже с большим воодушевлением.

— Вы знаете его теорию?

— Я просмотрел в поезде его заметки. Необычный почерк, много сокращений, нетрадиционная система записи, и, по правде говоря, освещение было не очень, но… Ах, в общем теория мне знакома.

— И что же?

Валентинов молчал. Несмотря на волнение, Марсель многое замечал: солнце скрылось за горами, на небе вырисовывались темные очер-

тания гор. На дороге гудела машина. Плакал ребенок. В отеле теперь уже горели все окна, весь стеклянный фасад.

— Я не совсем понял ваш вопрос, — сказал Валентинов.

— И что… — голос Марселя хрипел, он откашлялся, — что вы думаете о его теории? Кажется, это несложный вопрос!

— По-моему, — размеренно произнес Валентинов, — сейчас не совсем подходящий момент…

— Прошу вас, ответьте!

— Видите ли, я получаю достаточно много писем подобного рода. И всегда речь идет в них об этой проблеме: о времени, о Втором начале… Каждый раз я просматриваю их, ведь, как знать… Но…

— Но?

Ребенок снова заревел. Со стороны озера подул словно шепотом прохладный ветер.

— К сожалению, — Валентинов покачал головой, — хотя поначалу все представлялось достаточно любопытным, и в какой-то момент я даже был обескуражен… Но в свете сегодняшних обстоятельств лучше бы не говорить. Даже вычисления были неверны. А итог — подогнан! Умствования чистой воды, никакой науки. Ниче-

го существенного.

— Спасибо, — тихо сказал Марсель, — именно это я хотел знать.

На удивление быстрым и грациозным движением Валентинов вскинул трость и показал на небо.

— Смотрите, скоро появятся созвездия, отсюда, сверху, их особенно хорошо наблюдать. Но как вам наверняка известно, это никакие не звездные картинки и ничего общего с нами не имеют. Все здесь… — он описал тростью круг, — не имеет к нам никакого отношения. Но снова и снова находятся люди, не согласные с этим. Им больше нравится, когда их преследуют или на них нападают, а не когда они окружены холодным равнодушным миром. — Он опустил трость. — Но это не означает, что вашему другу не хватает таланта, простите, не хватало. Его теория весьма необычно выстроена, оригинальна до…

— Ну-ну, — твердил Марсель, — хотел бы я, чтобы Давид это слышал. Мы даже разбудили среди ночи вашу экономку, только затем…

— У меня нет экономки. И никогда не было. Знаете, я спрашиваю себя, почему именно Второе начало. Может, и вправду потому, что оно прописывает нам и всем существам на свете смерть.

Отменить его было бы… немалой заслугой. Но это невозможно, и не станет возможно никогда. *Никогда.* И если уж есть в сем мире что-то незыблемое, так это Второе начало, — Валентинов посмотрел на Марселя и слабо улыбнулся, — к сожалению.

— Во всяком случае спасибо, что были со мной откровенны, — сказал Марсель. В стеклах профессорских очков он увидел свое отражение, свою фигуру на фоне залитого светом отеля.

Валентинов склонил голову набок, облокотился на трость и кивнул. Марсель хотел еще что-то сказать, но отвернулся. Перед ним лежала узкая, освещенная несколькими фонарями дорожка. Марсель удалялся, ступая большими шагами, теперь он торопился уйти отсюда. Мимо двуглавой пальмы, вперед к ступенькам. От тропических растений исходил приторный запах.

Марсель остановился. Обернулся. Валентинов все еще стоял на том же месте и был едва различим.

— Он никогда не ошибался в расчетах! — закричал Марсель.

— Не понял?

— Он никогда не просчитывался. Валентинов поднял голову.

— Вы физик?

— Нет. Честно говоря, нет.

Валентинов пожал плечами.

— Тогда вам ничего не остается, как поверить мне на слово.

— У вас еще сохранились его записи?

Валентинов молчал, он как будто на мгновение задумался, потом покачал головой.

— Поймите, если я буду хранить все, что присылают на мое имя… Меня же все-таки знает пара-тройка человек. Но наверняка остались копии?

— Копий нет, — произнес Марсель.

— Тогда нам не узнать правды. Придется просто поверить мне.

С поверхности озера взлетела птица. Пахло водой и цветами.

— Нам не узнать правды. Но это не означает, что я принял ваши слова за чистую монету.

Несколько секунд они смотрели друг на друга. Валентинов все еще улыбался, а может, это просто так казалось. Марсель повернулся и заспешил прочь. Валентинов смотрел ему вслед, ничего не говоря и не двигаясь, — худощавая фигура между освещенным фасадом здания и черным, чернее ночи, озером, в котором висело отражение меся-

ца над горной грядой.

Марсель поднялся по лестнице на улицу. Конечности по-прежнему болели. Уже зажглись звезды. И там, среди них, виднелся самолет: три двигающиеся мерцающие точки. Воздух был холодный. Мимо прожужжало крупное насекомое, Марсель не мог его разглядеть, так как фонарь был разбит и стояла сплошная темень. Осколки скрипели под ботинками. И над головой нависала обезглавленная мачта.

Марсель ускорил шаг. Впереди показалась гостиница, возле гостиницы — его автомобиль. Надо было торопиться. Предстоял еще долгий путь.